

*Юрий Сушко*

# Друзья Высоцкого



*Биографии великих*  
*Неожиданный ракурс*

Биографии великих. Неожиданный ракурс

Юрий Сушко

**Друзья Высоцкого**

«ЭКСМО»

2011

**Сушко Ю. М.**

Друзья Высоцкого / Ю. М. Сушко — «Эксмо»,  
2011 — (Биографии великих. Неожиданный ракурс)

ISBN 978-5-699-52024-4

Есть старая мудрая поговорка: скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. И в самом деле, как часто мы судим о людях по тому, кто их окружает, с кем они проводят большую часть своего времени, с кем делятся своими радостями и печалью, на кого могут положиться в трудную минуту, кому доверить свои самые сокровенные тайны. Друзья не только характеризуют друг друга, лучше раскрывают внутренний мир человека. Друзья в известной мере воздействуют на человека, изменяют его на свой лад, воспитывают его. Чтобы лучше понять внутренний мир одного из величайших бардов прошлого века Владимира Высоцкого, нужно присмотреться к его окружению: кого он выбирал в качестве друзей, кому мог довериться, от кого ждал помощи и поддержки. И кто, в конце концов, помог Высоцкому стать таким, каким мы его запомнили. Истории, собранные в этой книге, живые и красочные, текст изобилует великолепными сравнениями и неизвестными ранее фактами из жизни замечательных людей. Читая его, ощущаешь и гениальность самого Высоцкого, и талантливость и неординарность его друзей.

ISBN 978-5-699-52024-4

© Сушко Ю. М., 2011

© Эксмо, 2011

## Содержание

Владимир ВЫСОЦКИЙ:	6
«В НАШ ТЕСНЫЙ КРУГ НЕ КАЖДЫЙ ПОПАДАЛ...»	7
«ГОВОРЯТ, АРЕСТОВАН ДОБРЫЙ ПАРЕНЬ ЗА ТРИ СЛОВА...»	27
Конец ознакомительного фрагмента.	44

# Юрий Сушко Друзья Высоцкого



## Владимир ВЫСОЦКИЙ: «МНЕ – ЧТОБ БЫЛИ ДРУЗЬЯ...»

Высоцкий иной раз мог сфальшивить на сцене или в кадре, мог сбиться, исполняя песню. «Врун, болтун и хохотун» обожал розыгрыши. Но, взяв в руки перо и бумагу, как перед иконой, он никогда не лгал. Осенью 1967 года Владимир Семенович в своем дневнике писал: «У меня очень много друзей. Меня Бог наградил. Одни пьют и мне не дают, другие не пьют, но на меня не пеняют. Все друзья на одно лицо, – не потому, что похожи, а потому, что друзья. И я без них сдохну, это точно. Больше всего боюсь кого-то из них разочаровать. Это-то и держит все время в нерве и на сцене, и в песнях, и в бахвальстве моем...»

Окружение Высоцкого калейдоскопически менялось, что, в общем-то, естественно и вполне объяснимо. Ведь нечто подобное происходит почти с каждым из нас, верно?.. Первые дворовые стайки сменяют одноклассники, потом появляются институтские товарищи, коллеги по работе и т. д. Под напором обстоятельств кто-то неизбежно ускользает в тень, находя иной круг общения, а полузабытый школьный приятель вдруг выныривает рядом с тобой и становится своим уже в твоей взрослой компании.

Владимира Семеновича всегда тянуло к личностям ярким, нестандартным, творческим, вне зависимости от рода занятий. Будь то художник или поэт, режиссер или старатель, философ, мореход, летчик, музыкант, альпинист или клоун. Профессия как таковая не имела никакого значения. Жизнь несла ему навстречу всех подряд. Вопрос – какого человека из этого потока выделить, за кого зацепиться, на чье плечо опереться. Только ведь друзей же не выбирают – людей притягивают друг к другу незримые, космического, вероятно, происхождения, мощнейшие магниты. В своем последнем интервью он, словно подводя итоги и думая о дне сегодняшнем, сказал: «Я жил и продолжаю жить для своих друзей. Понимаете?..» Валерий Золотухин подтверждал: «Для него главным в жизни всегда были друзья. Не жена, не дети, не карьера, а друзья».

Другом Высоцкого мог считаться лишь тот, кого он сам считал своим другом. Самое слово – Друг – он возвел на самый высокий, олимпийский пьедестал. Хотя говорил об этом очень просто, приземленно: «Дружба – это не значит каждый день друг другу звонить, здороваться и занимать рубли... Это просто желание узнавать друг о друге, что-то слышать и довольствоваться хотя бы тем, что вот мой друг здоров, и пускай еще здравствует...»

Марина Влади замечала: «В каждый период своей жизни у тебя был какой-нибудь закадычный приятель. За двенадцать лет их было семь. Меня поражало, как тебе необходимо их присутствие, общие секреты, сидение на кухне целыми ночами...» Великолепная семерка. Число магическое. Поэт сам подсказывал: «Словно с е м ь заветных струн зазвенели в свой черед...»

Своих близких друзей – Кочаряна и Макарова, Шемякина и Шукшина, Гагарина и Хергиани, братьев Вайнеров и Енгибарова, Гарагула и Любимова, Туманова и Льва Яшина, Абдулова, Смехова и прочих – Высоцкий щедро одаривал, посвящая им свои стихи и песни. Сотни, тысячи листов с рукописными поминальными стихами анонимных друзей Высоцкого сплошь укрыли, как траурные венки, могилу Владимира Семеновича на Ваганьковском кладбище в конце июля 1980-го...

Повествуя о близких друзьях Владимира Высоцкого, можно легко оступиться, кого-то обидеть, задеть в попытке расставить их всех по ступеням умозрительной иерархической лестницы. Более справедливым и, безусловно, честным, пожалуй, будет простой хронологический отчет.

«Людя́м, – не раз повторял Высоцкий, – должно быть хорошо...»

## «В НАШ ТЕСНЫЙ КРУГ НЕ КАЖДЫЙ ПОПАДАЛ...»

Артур Макаров, Левон Кочарян и другие

– Аллю, милиция?!

– Дежурный ОВД Западного административного округа слушает.

– Пожалуйста, приезжайте скорей! Улица 26 Бакинских комиссаров, 8, корпус семь, 75-я квартира... Тут труп мужчины, весь в крови. Кто говорит?.. Я – дочь хозяйки квартиры Катя...

– Ждите, сейчас будем, – сказал дежурный. И включил селекторную связь: – Опергруппа, на выезд! «Мокруха» у нас...

Прибывших на место сыщиков у подъезда дома встречала растерянная молодая женщина, которую поддерживали под руки двое мужчин. Оперативники поднялись на 16-й этаж и вошли в квартиру.

В одной из комнат на залитом кровью диване распростерлось тело. Осторожно сдернув одеяло, увидели, что из груди убитого торчит воткнутый по самую рукоятку диковинный нож. Молодой женщине стало совсем плохо, и ее тут же спроводили на кухню, усадили на табурет, в чашку налили воды. Едва она пришла в себя, приступили к расспросам:

– Убитого знаете?

– Да. Это – Макаров Артур Сергеевич. Хороший мамин знакомый.

– А мама где?

– Мама? В Глуши.

– В какой еще глуши?

– В Глуши. Это деревушка такая, на Псковщине. У нее там дом...

– А что здесь делал Артур Сергеевич?

– Он жил с мамой.

– И кто у нас мама?

– Прохоренко. Жанна Трофимовна Прохоренко. Киноактриса. Я же говорила там этому вашему...

Опера переглянулись: во, попали!.. Только актрис им еще не хватало, теперь вокруг такую шумиху раздуют... Мама, не горюй! Ладно, разберемся.

– Давай, стажер, садись, пиши протокол: «Третье октября 1995 года... На основании сообщения оперативного дежурного... руководствуясь статьями УПК, произвел осмотр места происшествия, с участием...» Паспортные данные понятых потом запишешь... Дальше: «Осмотр производился с 11 часов 15 минут до...» Ну, это после. Еще пиши: «...в условиях естественного освещения, пасмурной погоды, при температуре + 13 градусов по Цельсию. Осмотром установлено... Комната размером 5х3,5 м, прямоугольная, окно одно, трехстворчатое, обращено на северо-восток, входные двери в комнату и на кухню к началу осмотра были заперты и видимых повреждений не имеют...»

По квартире были разбросаны вещи. С первого взгляда стало ясно, что жертву перед смертью пытали. Руки покойного, здорового, крепкого мужика, были выкручены и связаны за спиной капроновым шнуром. В груди торчал диковинный клинок, ниже зияла еще одна глубокая ножевая рана.

Заместитель прокурора Никулинской межрайонной прокуратуры Решетников без особого интереса, с некоторой брезгливостью осмотрел место происшествия, покачал головой и на 17.00 назначил сбор оперативной группы у себя в кабинете. Расследование уголовного дела № 2261947 по факту убийства гражданина Макарова Артура Сергеевича, 1931 года рождения, он поручил следователю Ревазишвили.

На допросе личный водитель, он же охранник, Макарова Владимир Мочалов показывал: «Обычно я забирал шефа из дома в 10.15 утра. В указанное время поднимался в квартиру и звонил специальным кодом. Лишь после этого он открывал мне дверь. 3 октября в 9 утра я позвонил Макарову по телефону. Но трубку никто не поднимал. Обеспокоенный этим, связался с Джапаридзе (приятель Макарова, генеральный директор совместного предприятия «Квинт». – Ю. С.), который попросил меня поехать к шефу домой и позвонить условным сигналом в квартиру. Но это не дало никаких результатов. Пришлось вызывать дочь Ж. Прохоренко Катю, которая жила на той же улице и имела ключи от входной двери. К этому моменту подъехал Тариэл Джапаридзе. Все вместе мы поднялись в квартиру, где на диване обнаружили мертвого Макарова, накрытого с головой одеялом... Вызвали милицию. Все».

Это «мокрое» дело с самого начала следователю показалось дурно пахнущим. Прежде всего настораживала личность потерпевшего. Еще бы: родство со знаменитыми на весь Союз людьми, сожителство с известной киноактрисой. Ревазишвили прекрасно помнил старые фильмы с ее участием – ну, «А если это любовь?» или «Балладу о солдате». Сам покойник, как выяснилось, тоже имел отношение к кино, сценарии писал, что ли; правда, в последние годы больше занимался каким-то странным бизнесом. Его фирма «Арт Гемма», по данным оперов и налоговиков, изготавливала диковинные гвозди с серебряными шляпками для реставрации старинной мебели. Судя по всему, дела у Макарова шли вроде бы неплохо. Хотя, с другой стороны, откуда такой спрос на эти гвозди, неужели столько антиквариата у людей завелось? А по документам, производство этих гвоздей шло чуть ли не в промышленных масштабах... Чуть ли какая-то. Смех и грех, ей-богу...

\* \* \*

Даже среди своих, за дружескими посиделками на Большом Каретном, из Артура невозможно было выудить лишнее словцо о его детских годах. Не слишком вдавался в подробности туманной истории, как в десять лет его усыновили известнейшая актриса Тамара Макарова и ее муж, не менее знаменитый режиссер Сергей Герасимов, – поистине королевская чета советского кино.

Артур был сыном родной сестры Тамары Федоровны Людмилы, которая имела неосторожность выйти замуж за инженера немца Адольфа Цивилько. Накануне войны мужа арестовали, заподозрив в шпионаже в пользу нацистской Германии. Последующая судьба ЧСИР – членов семьи изменника родины – была известна: жену – на поселение, ребенка – в детский дом для таких же лишенцев. По другому семейному преданию, Адольф Цивилько, будучи горячим поклонником своего бесноватого тезки, каким-то образом все же сумел удрать в Германию, бросив семью на произвол судьбы. А за грехи его пришлось расплачиваться матери Артура, получившей бессрочную ссылку. Так или иначе, но дальнейшая доля мальчика рисовалась сущим адом. Автору всенародно любимых фильмов «Семеро смелых», «Учитель», «Комсомольск», лауреату Сталинской премии Сергею Аполлинариевичу Герасимову пришлось приложить невероятные усилия, включить все связи и рычаги влияния, чтобы спасти подростка. Своих детей у Герасимова и Макаровой не было, и на семейном совете было решено усыновить племянника, который в итоге стал Артуром Сергеевичем Макаровым.

С юных лет самостоятельный, упрямый, он решает по-своему выстроить будущую судьбу и после школы выбирает Саратовское танковое училище. Наперекор мнению окружающих, получая при этом инъекцию самоуважения. Правда, учиться там ему довелось всего лишь два года: получив тяжелую травму на учениях (ему на голову обрушился ствол башенной пушки), курсант Макаров был комиссован. По возвращении в Москву Артур некоторое время неприкаянно болтался, говоря нынешним языком, по тусовочным компаниям.

Дом Герасимова и Макаровой был образцовым светским салоном в советском стиле. Его с удовольствием посещали и сливки московской творческой элиты, и многие зарубежные звезды. Здесь случались импровизированные домашние концерты, порой велись разговоры с дозированным привкусом вольнодумства. Одновременно это была творческая мастерская, в которой работал маститый режиссер и сценарист, замечательный педагог института кинематографии, в чем ему активно помогала жена. Вся эта атмосфера, разумеется, плотно окутывала Артура, незадавшегося танкиста, который с юных лет проявлял склонность к сочинительству. В конце концов, после долгих метаний он поступил в Литературный институт. Там он быстро миновал период ученичества и стал заметным, подающим надежды студентом.

Разумеется, молодого человека, кроме аудиторных занятий, обуревало множество иных интересов. Тем более, он был убежден, что учиться писать – дело зряшное и абсолютно бесперспективное. Другой вопрос: иметь постоянную возможность показывать свои литературные опыты маститому, опытному прозаику, послушать его замечания, советы (пусть даже не соглашаясь с ними) было полезно. Впрочем, Артура изгнали уже с первого курса за всякого рода вольности, в том числе и словесные. Причем в весьма приличной компании – вместе с Беллой Ахмадулиной и Леонидом Завальнюком. На восстановление ушло немало времени, сил, а главное – унижительных ходатайств приемного отца и его многочисленных влиятельных друзей. В итоге Макаров все-таки остался постигать премудрости писательского ремесла на заочном отделении Литинститута.

В начале 1950-х одним из самых модных и для многих недоступных (а оттого еще более заманчивых) заведений в Москве было кафе «Спорт» у Белорусского вокзала, где был и танцевальный зал, и бильярдная, и пивной бар. Там собирались как профессиональные бильярдисты и шулеры, популярные спортсмены, актеры и певцы, так и те, кто искренне верил в свое будущее высокое предназначение – стать именем в литературе, кино, музыке, театре, живописи, науке. Юлик Ляндрес еще не был знаменитым писателем Юлианом Семеновым, Эдуард Хруцкий и не помышлял о сочинении детективов, Илья Глазунов, тяготясь ролью скромного подмастерья, лишь втайне мечтал о карьере придворного портретиста, а будущий великий кинорежиссер Андрей Тарковский пока был вынужден зубрить арабский в институте востоковедения.

Именно за столиком в «Спорте» Артур Макаров познакомился с Левон Кочаряном, который хотя и не был ни режиссером, ни художником, ни поэтом, ни актером, но уже был тем человеком, дружить с которым почитали за честь. Юлиан Семенов писал потом, что Левон был душой Москвы тех лет: его знали и любили люди разных возрастов и профессий – грузчики, писатели, кондукторы трамваев, жокеи, актеры, профессора, летчики: он обладал великолепным даром – влюблять в себя сразу и навсегда. Кочарян прекрасно знал кино, литературу, музыку, был мастером на все руки. Шил себе рубашки, делал абажуры, показывал фокусы, играл на гитаре, на съемках водил танки, лихо скакал на коне, однажды в черноморском порту запросто пришвартовал большегрузный корабль. Кроме всего прочего, обожал эпатировать публику: мог выпить бокал шампанского и закусить фужером или лезвием бритвы, а то и проколоть щеку иглой (восхищаясь способностями Левона, Владимир Высоцкий наделял ими своих песенных героев: «Могу одновременно есть бокалы и Шиллера читать без словаря...» и пр.). Но главным его достоинством было колоссальное концентрирующее начало.

Как и Макаров, Левон рос в творческой среде. Его отец – известнейший чтец-декламатор, народный артист РСФСР и Армении, лауреат Сталинской премии Сурен Акимович Кочарян. Но шагать в искусство по отцовским стопам сыну никак не хотелось. Левон позанимался некоторое время в училище гражданской авиации, потом поступил в институт востоковедения, а затем перевелся на юридический факультет МГУ.

В предвкушении романтики оперативной работы молодой юрист Кочарян, придя в прославленный МУР, весьма скоро остыл, обнаружив, что обычная рутина, бюрократическая писанина и прочая тягомотина отнимают куда больше времени и ценятся выше, чем непосред-

ственно розыск, мужество, открытый поединок с преступником. Разочаровавшись, он ушел из угро и вновь круто изменил свой жизненный курс. Да и гены наверняка тоже сказывались. Он окончил Высшие операторские курсы и вскоре стал на киностудии «Мосфильм» незаменимым вторым режиссером – «первым среди вторых», пройдя обкатку у Сергея Герасимова на съемках шолоховского «Тихого Дона».

Попробовать Кочаряна порекомендовал отчиму, естественно, Артур Макаров. Друга Левон не подвел.

Сергей Аполлинариевич не без оснований побаивался мнения строптивного Шолохова по поводу режиссерского сценария «Тихого Дона». Вот и придумал строгий «экзамен» для своего нового помощника: «Отправляйся-ка ты к Михаилу Александровичу и без утвержденного им сценария первой серии не возвращайся». Очевидец рассказывал: «В Вешенской появился очень симпатичный человек от Герасимова, который сразу понравился Шолохову. Они беседовали, гуляли, и у них сразу возникли какие-то теплые отношения. Михаил Александрович довольно быстро прочитал и подписал сценарий... И даже сказал по телефону Герасимову: «Если следующую серию привезет не Кочарян – не подпишу...»

В середине 50-х Левон познакомился с очаровательной студенткой Щукинского театрального училища Инной Крижевской, которая жила в доме на Большом Каретном, и скоро переехал к ней навсегда. У них была трехкомнатная квартира, что по тем временам было вызывающей роскошью. Ведь большинство москвичей жили в коммуналках, ютась в одной («буржуи» – в двух) комнатухе. Но дом № 15 был особым, принадлежавшим могучему ведомству ГПУ-НКВД, и жилье в нем полагалось начальнику одного из ведущих управлений наркомата Александру Крижевскому, которое затем отошло его дочери Инне. Немудрено, что эти хоромы стали замечательной штаб-квартирой компании, которую потом назвали кочаряновской.

В глазах тогдашней спутницы Высоцкого Люси Абрамовой Левон был среди всех них как бы директором интерната или большого детского дома. Это был человек, к которому людей тянуло – не просто людей, а тех, которые нуждались в помощи, тепле, поддержке... Но не только в помощи, но и в жесткой критике – ведь они побаивались Леву. И Володя в том числе. Он мог быть грубым, мог врать женам своих друзей, глядя спокойно в глаза, – но это было потому, что он был их воспитателем и все были – его семья.

В нашей компании, рассказывал Артур Макаров, существовала «первая сборная» – Кочарян, Утевский, Гладков, Георгий Калатозишвили, которого все звали «Тито», потом туда влился еще криминалист Ревик Бабаджанян. А во «вторую сборную» входили Высоцкий, Акимов, Свицерский, Кохановский... Почему «вторая»? Но они же тогда были еще почти пацаны. И попасть в «основу» было невероятно трудно. Но Володя, вспоминал Артур Сергеевич, даже когда и песен не было, когда он еще не был тем самым Высоцким, всегда на равных сидел за столом с «первой сборной»... Наш несколько прямолинейный девиз – «Жизнь имеет цену только тогда, когда живешь и ничего не боишься» – он очень близко принял к сердцу. Потому что Володя, если не всегда мог делать то, что хотел, никогда не делал того, чего не хотел. Никогда!»

В компании не боролись за лидерство. Даже амбициозный Макаров признавал: «Влияние Левы на Володю, да и не только на него, на всех нас и еще многих и многих, было огромно, его нельзя переоценить». Ребята знали: все на Большом Каретном решал Лева Кочарян – мягко, ненавязчиво, но окончательно.

«Правила общежития у нас сложились вполне определенные, – вспоминал Макаров, – мы были близкие друзья, а это значит, что жили мы, по сути дела, коммуной... Если применить более позднее определение, все мы являлись тунеядцами... Для окружающих мы были тунеядцами потому, что почти никто из нас не работал, то есть все мы работали и работали много, но как? Без выдачи зримой, весомой, а главное – одобренной продукции. Все очень много работали, но каждый – в том направлении, в котором хотел. Никто нигде не состоял

и ничего практически не получал. Володя вместе с одним товарищем написал «Гимн тунеядцев»... Гимн этот регулярно исполнялся с большим подъемом. И даже в нем проскальзывало то, что держало эту компанию:

*...И артисты, и юристы,  
Тесно держим в жизни круг,  
Есть средь нас жиды и коммунисты,  
Только нет средь нас подлюг!..*

В те годы подобный образ жизни – на «вольных хлебах» – строго карался. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4 мая 1961 года «Об усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный, паразитический образ жизни» так называемые «тунеядцы» все поголовно подлежали высылке и отбывали трудовую повинность (принудработы). Под горячую руку попал и Макаров. Его внезапно выселили из Москвы. Хотя к тому времени он профессионально занимался литературным трудом, в частности переводами, а точнее – литобработкой подстрочников произведений среднеазиатских авторов. При его участии (как переводчика) вышли из печати два романа, повесть, пьеса. Был получен и успешно проеден гонорар. Но трудовой книжки как таковой он, естественно, не имел, что автоматически означало зачисление в сословие тунеядцев. Возвращению Артура в столицу помогло лишь заступничество редколлегии журнала «Новый мир», куда он регулярно носил свои прозаические опыты. Словом, Макарова милостиво оставили в покое, но с обязательным условием – вступить в группком (т. е. профсоюз) столичных литераторов.

Еще одна цитата из «Гимна тунеядцев»:

*Идем сдавать посуду,  
Ее берут не всюду.  
Работа нас не ждет,  
Ребята, вперед!*

Случались дни, когда сдача пустой посуды и впрямь становилась единственным источником пополнения бюджета коммуны. Но «счастливых нищих» отличала природная гордость, и распоясавшихся наглецов они умели ставить на место. Был случай, когда один уже известный поэт, захаживающий временами на Большой Каретный, позволил себе публично с пренебрежением отозваться о своих молодых друзьях: «Да я же их всех кормлю!..» При первой же встрече со стихотворцем то ли в ВТО, то ли в Доме кино ребята вежливо его остановили:

– Гриша! Во-первых, ты кормишь плохо. Невкусно! Во-вторых, мы считали, что это – из дружеского расположения. И в-третьих, кормят содержанок – друзей угощают! Так что, мы у тебя на содержании?..

Поэт Гриша с того вечера долго не показывался в доме Кочаряна. Потом пришел с покаянными извинениями.

Когда материальные дела «коммуны» оказались на грани катастрофы, пришлось посягнуть на святая святых – жилище Кочарянов. На общем собрании, рыдая, разрешили хозяину сдать внаем его квартиру на полгода денежному клиенту. В качестве временной обители Володя Акимов (из «второго состава») великодушно предложил свою огромную, 40-метровую, комнату в коммунальной квартире. Комната была уставлена старинной мебелью, на стене висели каска с надписью «Если завтра война», пыльная отцовская бурка и старая шашка, а также сиротская вязанка сушеного лука. Жить можно!

А когда «костлявая рука голода» дотянулась и сюда, Макаров предложил Акимову «оригинальное» решение проблемы: «Володь, давай твою комнату обменяем с доплатой на меньшую. Чегой тебе такая большая комната? Зачем она тебе? Давай обменяем – и денежка будет...» Уговаривать хозяина пришлось недолго, и в итоге был произведен обмен на 20-метровую комнату в том же доме, в соседнем подъезде. Но с денежной доплатой и магнитофоном, правда едва работающим. На вырученные деньги были куплены диван-кровать, шкаф, два кресла и журнальный столик. Потом кто-то с первых случайных доходов приобрел обеденный стол. Журнальный был мал – каждый вечер меньше пятнадцати человек тут не собиралось. Диван законно занимала супружеская чета Кочарянов, на полу расстилалась бурка, на которой почивал Акимов. Для почетных гостей в углу стояла дежурная раскладушка.

На одном из своих последних публичных выступлений в Калининграде в июне 1980 года Высоцкий вспоминал друзей юности: «Это была компания, очень близкая, друзей. Мы жили действительно в одной комнате в квартире моего друга на Большом Каретном полтора года подряд. Кто-то из нас уезжал работать, кто-то работал по договорам... Это такое братство, которое у нас было. Я знал, что, когда я приезжал из какой-нибудь командировки, они ждут от меня песни. И я всегда считал своим долгом написать для них что-нибудь новое. И я знал, что будет атмосфера доверия, раскованности, непринужденности у нас на тех вечерах. Причем это неважно – выпивали мы или нет, это не имело значения. Самое главное, что мы ночи напролет разговаривали, друг другу пели, читали новые рассказы и так далее...»

Если они и выпивали, то не тупо, не для того, чтобы просто опьянеть. Это была нормальная форма общения, приправленная какими-то дозами спиртных напитков. Застолье являлось естественной средой, или, как выразился кто-то из современников, идеальным проводником, в котором, как в жидкости, все распространялось быстрее. Они говорили вполголоса, но слышно было порой на всю Москву.

Это был своего рода «праздник, который всегда с тобой». Именно праздник, а не праздность молодых и талантливых людей, которых неведомая сила каждодневно тянула друг к другу.

Когда они начинали, ни у кого из них еще не было возможности печататься, выставлять картины, снимать свое кино, однако их идеи проходили своеобразную устную публикацию, обкатку. Читая друг другу, пытливо всматривались в глаза напротив: раздастся ли смех, откликнется ли созвучием, шевельнется ли что-либо... Формировалось новое творческое поколение. Им было интересно друг с другом. Они обсуждали какие-то вещи, показывали свои стихи, рассказы, рисунки, песенки. Говорили смело, свободно, знали больше того, что рекомендовалось, выискивали какие-то новые, вернее, старые, полузабытые – то ли насильно, то ли в силу обстоятельств – имена. Из рук в руки переходили листки папиросной бумаги с машинописными копиями стихов и рассказов, философских статей. Они выстраивали в их душах какие-то новые ценности.

У Кочарянов любили петь под гитару. Признанными исполнителями были восходящие кинозвезды Олег Стриженов и Евгений Урбанский, поэт Гарик Кохановский. «Я мог петь что угодно – от блатняка и куплетов до душещипательных городских романсов и серенад, – рассказывал Стриженов о беспечных молодых годах. – Приходишь в компанию, выпьем и – «давай пой!». Еще через десять минут опять: «Бери гитару, пой!» Дошло до того, что я свою гитару подарил другу с надписью: «Жек, играй. Я – закончил!»

А уж когда возникло такое явление, как магнитофон, то вперед с победным криком вырвался Владимир Высоцкий, который смело прошел мимо традиционных жанров. Именно на скрипучем кочаряновском «Днепре-10» были сделаны первые записи песен совсем молодого Высоцкого.

«Компания тогда была интересная, – говорил о тех временах Высоцкий, – было нам немного лет, и у нас были большие перспективы. Вася Шукшин, Лева Кочарян, Тарковский

Андрей, Макаров Артур... Это из известных. И есть несколько людей, которые никакого отношения к таким публичным профессиям не имеют... Я помню, какая была атмосфера тогда, когда я первый раз им показывал песни. Я напишу чего-нибудь и покажу им сразу. И была атмосфера доверия, такой раскованности, непринужденности, свободы полной. И самое главное – дружественная атмосфера. Ведь я видел, что им нужно, чтоб я им пел, и они хотят слушать, что я им расскажу в песне. То есть это была манера что-то сообщать и как-то разговаривать со своими друзьями близкими... За столом, с напитками или без – неважно. Мы говорили о будущем, еще о чем-то, была масса проектов. Я знал, что они меня будут слушать с интересом, потому что их интересует то же, что и меня, что им так же скребет по нервам все то, что и меня беспокоит. Это было самое запомнившееся время моей жизни... Можно было сказать только полфразы, и мы друг друга понимали в одну секунду, где бы мы ни были. Понимали по жесту, по движению глаз – вот такая была притирка друг к другу. И была атмосфера такой преданности...»

Потом, когда «правда восторжествовала» и Кочарьянам вернулась их трехкомнатная квартира, Высоцкий получил право радостно спеть:

*В этом доме большом раньше пьянка была  
Много дней, много дней.  
Ведь в Каретном Ряду первый дом от угла —  
Для друзей, для друзей.  
За пьянками, гулянками,  
За банками, полбанками,  
За спорами, за ссорами, раздорами  
Ты стой на том, что этот дом,  
Пусть ночью, днем, всегда – твой дом,  
И здесь не смотрят на тебя с укорами...*

Компания Большого Каретного переуллка не являлась каким-то замкнутым кланом. Через распахнутые настежь двери кочарьяновской квартиры прошла едва ли не «вся Москва». Работая в картине «Капитанская дочка», Левон прямо со съемочной площадки умыкнул исполнителя главной роли Олега Стриженова. В пору возникновения на телевидении «Голубых огоньков» (любимой передачи советского народа в начале 60-х) Кочарьян был пионером, одним из режиссеров первых программ. Самых интересных гостей «огоньков» Левон сразу после съемок на Шаболовке тащил к себе домой. Боже сохрани, кто б посмел от таких предложений отказаться?! Не мог устоять даже Юрий Гагарин. Не обращая внимания на шум и гам, на Большом Каретном через стенку играли в шахматы вслепую, без досок, завтрашние выдающиеся гроссмейстеры Михаил Таль и Леонид Штейн. С легкой руки Левона в честной компании появился настоящий морской волк, будущая легенда Черноморского флота Анатолий Гарагуля. Потом хозяин представил всем еще одного морехода, некоего Халимонова: «Вот знакомьтесь – Олег. Он моряк. Я хочу снимать его в своем фильме».

Макаров же, разыгрывая из себя крутого, жесткого и решительного парня, далеко не каждому позволял войти в свой «ближний круг». Но тем не менее именно он за руку привел в компанию смущающегося всего на свете, начинающего поэта Давида Маркиша, сына классика еврейской литературы. Пригрел никому не известного художника Илью Глазунова. Собирая материал для очерка о «лучшем советском полицейском» по заданию Агентства печати «Новости», познакомился со славным муровским сыщиком Юрой Гладковым, и вскоре тот стал своим на Большой Каретном.

Время от времени в гости на Большой Каретный из любопытства наведывались поэты Григорий Поженян и Роберт Рождественский. Именно Макаров пригласил неказистого алтай-

ского мужичка, будущего автора «Калины красной» Василия Шукшина. А чуть позже вместе с Шукшиным на очередной вечеринке у Кочарянов появился Андрей Тарковский. Хотя, по мнению Макарова, Тарковский не сразу прижился в компании. Он ведь никого близко к себе не подпускал – в нем постоянно присутствовала изысканная, холодная вежливость. Хотя порой Андрей переставал оценивать людей по степени приобщенности к ценностям мировой культуры, и эта неприступность таяла. Ну, а когда Андрей скромно предложил Урбанскому спеть свою песенку, стилизованную под дворовые шлягеры 50-х: «Когда с тобой мы встретились, черемуха цвела/И в парке тихо музыка играла./А было мне тогда еще совсем немного лет,/Но дел уже наделал я немало...», все безоговорочно признали: «Наш человек».

Иногда, в нелегкие часы, Тарковский мечтательно предлагал друзьям: «Ребята, давайте, когда станем богатыми, построим большой дом в деревне, чтобы все могли там жить». У него была такая идея – построить дом-яйцо, в котором все они бы там обитали. И главное – чтобы в этом доме не было бы чужих людей.

Высоцкий же рекомендовал своим взрослым друзьям из «первой сборной» начинающего поэта Игоря Кохановского, своего однокурсника Георгия Епифанцева, уже прославившегося ролью Фомы Гордеева в одноименном фильме, потом юного студента Школы-студии МХАТ Севу Абдулова. Старшие к ним, новичкам, пристально присматривались, чутко прислушивались. Безоговорочное доверие еще следовало заслужить, доказав, что ты – личность, что кое-что умеешь из того, что не могут другие.

«Услышав первые песни Высоцкого, – вспоминал Кохановский, – мне безумно захотелось написать песню, притом такую, чтобы она понравилась всем нашим». Он рассказывал: «А листья под окнами почти опали. Так недавно еще горели, особенно на кленах, таким невероятным пламенем. И вот их почти нет. Столь же невероятной казалась мне в ту осень встреча с Леной, которую Володя сразу же назвал Марокканкой – за смуглый цвет кожи и иссиня-черные волосы короткой мальчишеской прически. Она и стала героиней уже брезживших во мне стихов. Я сел и, по-моему, за полчаса написал:

*Клены выкрасили город  
Колдовским каким-то цветом.  
Это снова, это снова  
Бабье лето, бабье лето...*

Мелодия к стихам родилась без особого труда. На следующий день собрались... Шум, гам, анекдоты. Наконец Володя взял гитару. Кажется, у него тогда было 10–12 песен. Пел и еще какие-то, не свои. Где-то через час решил сделать «передых», как он говорил. «Я, как бы между прочим, потянулся за гитарой, мол, настал и мой черед. Запел как можно спокойнее, задавая себе четкий ритм. Окончил. Тишина. После паузы Артур Макаров, он был старше нас и пользовался авторитетом домашнего мэтра, лукаво-ободряюще сказал: «Давай еще раз». Я понял, что песня получилась, она понравилась...»

Впрочем, вовсе не обязательно допуском в «ближний круг» должны были быть оригинальные стихи, песни, необычные картины, которыми удивляли Володя Акимов и Жора Епифанцев, актерские успехи Севы Абдулова или рассказы Гладкова о поимке опасного преступника.

«Круг Левушкиных знакомств был весьма пестрым, полярным и многоплановым, – рассказывал Анатолий Утевский, который, собственно, и привел своего сокурсника Кочаряна на Большой Каретный. – Некоторые его приятели составляли далеко не самую интеллектуальную часть общества. Скорее, они примыкали к криминогенной, авантюрной его части... Кое-кого знал Володя Высоцкий, которому тогда весьма импонировал их авантюрный образ жизни, возможность разными путями легко зарабатывать деньги и так же лихо, с особым шиком и

куражом прокутить их. Днем они занимались какими-то сомнительными делишками, а вечером собирались в модных тогда ресторанах «Спорт», «Националь», «Астория», «Аврора». Эти ребята, несмотря на принадлежность к блатной среде, были фигурами своеобразными, добрыми по своей натуре и обладавшими чертами справедливых людей. Авторитет Левы у них был огромен».

«Мы были знакомы со знаменитой компанией «урки с Даниловской слободы», профессиональными «щипачами», – со вкусом вворачивал «феню» в свой рассказ Артур Макаров. – Хотя Володя никогда в «блатных» делах «замазан» не был, он знал довольно серьезно и крепко людей из этого мира, хорошо знал. Некоторые из них очень любили его, и он их тоже, надо сказать».

*Свой человек я был у скокарей,  
Свой человек у щипачей,  
И гражданин начальник Токарев  
Из-за меня не спал ночей...*

Наиболее яркой фигурой был легендарный московский вор Миша Ястреб, который непременно посещал Большой Каретный (в перерывах между отсидками). Судьба его была страшная, но типичная для послевоенных лет. Воровать начал с голодухи – отца расстреляли по «ленинградскому делу», мать спилась. Позже, «выставляя» номенклатурные «хаты», он называл себя Робин Гудом, народным мстителем. Непререкаемый авторитет среди воров почитал за честь посидеть за одним столом с занятыми ребятами с Большого Каретного.

«Мы жили в том времени, – говорил Артур Макаров. – В послевоенные годы страна была захлестнута блатными веяниями... У нас в школах и во всех дворах все ребята часто делились на тех, кто принимает, грубо говоря, уличные законы, и тех, кто их не принимает, кто остается по другую сторону. В этих законах, может быть, не все было правильно, но были и очень существенные принципы: держать слово, не предавать своих ни при каких обстоятельствах. Законы были очень жесткими. И это накладывало определенный отпечаток на наше поколение, на нашу судьбу... Практически все владели жаргоном – «ботали по фене», многие тогда даже одевались под блатных...»

От общения с Макаровым, фигурой характерной, мощной и очень амбициозной, у многих оставалось двойственное впечатление. Даже сама его внешность была необычной, в его облике было что-то жесткое, даже уголовное: маленькие глаза, почти всегда закрытые темными очками, волевой подбородок... В Артуре было какое-то своеобразное мужское, «суперменское» обаяние. Он во многом копировал вальяжность и ироничность Сергея Аполлинариевича Герасимова. Артур подражал отчиму, который определенно был пижоном и эстетом. Все сходилось во мнении, что в Артуре присутствовало нечто западное, и это ощущалось во всем, например в манере одеваться. Первые настоящие джинсы в Москве появились именно у него, потом какая-то шикарная куртка, необычный кепарик. Но он не был тем пижоном, которому хотелось дать по морде. У него был свой стиль, своя повадка, своя походка, свой прищур. И была удаля. Он был мужчиной, большим и красивым. Хотя Василий Шукшин выпятил в нем другое, когда снимал Макарова в роли одного из бандитов в «Калине красной». В своей киноповести Василий Шукшин карикатурным мазком пригвоздил героя Макарова – «некий здоровый лоб, похожий на бульдога. Кличку носит соответствующую – Бульдя, Бульдог». «Ты имеешь свои четыре класса и две ноздри – читай «Мурзилку» и дыши носом».

Как и многие ровесники, Артур был слегка ушиблен «папой Хэмом». По мнению писателя Михаила Рошина, «Артуру нравился этот образ, и в некотором смысле он работал над этим... Хорошо подражает тот, в ком есть соответствующая мужская закваска... Артур... был нормальный парень, выпивоха, компанейщик. Когда мы утром изнывали с похмелья и денег

не хватало даже на пиво, он мог взять в своем богатом доме какой-нибудь магнитофон и тут же продать его официанту...»

«Взгляды героев Хемингуэя, которым мы зачитывались, – подтверждал Игорь Кохановский, – исподволь становились нашими взглядами и определяли многое: и ощущение подлинного товарищества, выразившееся в формуле «Отдай другу последнее, что имеешь, если другу это необходимо», и отношение к случайным и неслучайным подругам, с подлинно рыцарским благоговением перед женщиной; и темы весьма темпераментных разговоров и споров, а главное – полное равнодушие к материальным благам бытия и тем более к упрочению и умножению того немногочисленного, что у нас было». А классик молодежной прозы 60-х Василий Аксенов вообще полагал, что «именно Хемингуэй в большей степени ответственен за пьянство моего поколения». Но это так, к слову.

Творческая судьба каждого из них, бытовые проблемы и неурядицы были общей заботой всех. «Вовчик-дебюта» показывается в «Современнике» – все гурьбой на спектакль. А Высоцкий не остается в долгу и прямо со сцены несет отсебятину, по ходу меняя имена героев пьесы Розова «Гнездо глухаря» на фамилии и прозвища друзей, сидящих в тот вечер в зале: «Вся эта ростовская шпана – Васька Резаный, Левка Кочарян, Толян Утевский...»

Макаров горой стоял за своих товарищей. Используя при этом свои, специфические средства. Все знали: ему ничего не стоило дать кому-нибудь в рыло. Как-то после первого закрытого просмотра «Андрея Рублева» Артур, услышав от одного известного актера нелестные отзывы о картине Тарковского, мигом отволоч негодника в сортир и избил. В мае 1964 года, когда Высоцкий прогулял все праздничные выступления в театре, вспоминала Людмила Абрамова, Арчик обидел его, но с самыми добрыми намерениями: «Если ты не остановишься, то потом будешь у ВТО полтинники на опохмелку сшибать». И Володя потом понял, несколько раз возвращаясь к этому: «Да, я понимаю... Меня нужно было чем-то задеть». В педагогическом арсенале Макарова были и иные, не менее эффективные приемы.

Кочаряновские посиделки Макаров нередко использовал как благодатную аудиторию для своих «идеологических» проповедей. Высшей ценностью был культ брутальной силы – как теперь говорят, «мачизм», – пренебрежительное отношение к женщине как к существу низшему, подчиненному, мужская солидарность, которая проявлялась и в застолье, и в драках, и в «разборках». Артур, пользуясь положением старшего в «первой сборной», внушал молодым, что девушки, чувствуя такое отношение к себе, «сами начинали к себе по-другому относиться... Шалава? Ничего оскорбительного. Шалава – это было почетное наименование, это еще надо было заслужить».

Усек, Вовчик?.. Понял. И словно под диктовку, рождались строки:

*Рыжая шалава, от тебя не скрою,  
Если ты и дальше будешь свой берет носить,  
Я тебя не трону, а в душе зарюю  
И прикажу залить цементом, чтобы не разрыть!*

Наивная, но искренняя Иза, первая жена Высоцкого, легкомысленно определяла свое положение в мужском коллективе: «Кто-то что-то писал, кто-то сочинял музыку, и всё горячо обсуждалось. Плыл сигаретный дым, бутылки водки хватало на всю ночь всей компании, нехитрая закуска из ближайшего овощного (икра «заморская баклажанная», морковь маринованная) – разговоры до рассвета. Их мужские проблемы мало занимали меня. Вкрадчиво возникала мелодия сонного адажио, и тогда укладывали меня на диван и укрывали жесткой, пахнущей дымом и шерстью буркой. И переходили на шепот. Блаженно было засыпать в этом теплом мире заботы и нежности...»

Вполне возможно, прочих подруг столь же беспечно мало занимали «их мужские проблемы», а посему расставались с ними легко и без особых сожалений.

Владимир Высоцкий знал, что подарить другу на день рождения, и 22 июня 1963 года он исполнил для Артура и всех гостей свою новую песню «Я женщин не бил до 17 лет»:

*...С тех пор все шалавы боятся меня,  
И это мне больно, ей-богу!  
Поэтому я, не проходит и дня,  
Бью больно и долго,  
Но всех не побьешь, – их ведь много...*

Впрочем, жену себе Артур Сергеевич, человек решительный, выбрал стремительно и безошибочно, разглядев в 18-летней Миле будущую верную спутницу и преданного друга. Вплоть до самой свадьбы невеста знать не знала, из какой именитой семьи ее будущий муж. Впрочем, и потом, на протяжении всего 35-летнего официально длившегося брака, она многого не знала о жизни Артура.

Тот самый культ силы, который исповедовал Макаров, здесь никто не осмелился бы оспорить. Многие из ребят занимались боксом – и Кочарян, и Макаров, и Юрий Гладков. А Эдик Борисов, который появился в компании чуть позже, и вовсе был чемпионом Союза. По мнению тренеров, Артур вполне мог бы тоже стать хорошим боксером, у него был отличный удар и кураж. Но спорт как таковой его не очень интересовал, он просто учился драться.

Левон Кочарян, как рассказывали друзья, обладал просто невероятной природной силой, но пускал ее в ход только в том случае, когда его к этому вынуждали. «Если в его присутствии кого-то обижали, он немедленно бросался на защиту, – рассказывал Утевский. – Лева хорошо дрался головой, он действительно как бык шел напролом...» И друзья всякий раз оглушительным хохотом сопровождали песню, которую пел Высоцкий:

*Я здоров, к чему скрывать, —  
Я пятаки могу ломать,  
Я недавно головой быка убил,  
Но с тобой жизнь коротать —  
Не подковы разгибать,  
А прибить тебя – моральных нету сил!..*

Когда Макаров получил квартиру на Звездном бульваре, он попытался продолжить кочаряновские традиции, но по-своему. Было организовано королевство во главе с Арчем-1 «Единственным». Олега Халимонова он назначил начальником королевской гвардии, Владимира Высоцкого, естественно, главным трубадуром, Андрея Тарковского магистром искусств, а Тито Калатозишвили – королевским прокурором. Взрослые уже мужики дурачились: приняли устав королевства, сделали печать. Провозгласили, что королевство находится везде... Что члены королевства имеют только права... Что королевские бдения происходят не реже одного раза в месяц... Ну, и так далее. Разумеется, эти ребячьи игрища и забавы продолжались недолго.

Потом, когда у одних пошла, у других – нет кой-какая печатная, экранная, сценическая, выставочная судьба, когда многие уже показали свои острые зубы и многие уже получили по этим зубам, а время ожидания, оживления замерло, постепенно, естественным образом начался распад прежде сплоченного товарищества: реже стали собираться, потребность в устных «публикациях» исчезала. У каждого появились свои дела, определялись собственные судьбы.

Журналистская поденщина в АПН тяготила Артура Макарова, и со свойственным ему упорством он стремился заняться настоящей Литературой. «Артур принес пронзительный и свежий рассказ о деревенском житье-бытье, которое наблюдал буквально из окна, – вспоминал Михаил Рошин, который в ту пору работал редактором отдела прозы журнала «Новый мир», – и в один день стал знаменитым... Рассказ Артура очень складно попал в эту волну... Макаров рано и удачно нашел свой стиль, покойно-размеренный, тургеневски-ясный, размеренный, как охотничья поступь по лесу, по бережку, по окраинам болот и т. п. Читать его приятно и спокойно».

Его прозаический дебют состоялся в августе 1966 года, когда ему уже стукнуло 35. Но зато какой это был дебют! Рассказ Макарова «Дома» был удостоен чести быть опубликованным в юбилейном, 500-м номере журнала. В том же году в октябрьской книжке журнала появился еще один рассказ Артура Макарова «Накануне прощания», от которого пришел в восторг сам главный редактор «Нового мира» Александр Твардовский.

А уже в марте следующего года Секретариат Союза писателей СССР вынес вердикт об «идейно-художественных просчетах и недостатках журнала «Новый мир». В ряду авторов, «односторонне освещающих нашу действительность, обедняющих советского человека», рядом с именами Александра Солженицына, Бориса Можаева значилась скромная фамилия Макарова. Так он получил «волчий билет» в официальную советскую литературу.

Артур купил избу в глухой деревеньке Заборовке на Верхней Волге и зажил обычной жизнью сельского мужика: плотничал, промышлял охотой и рыбалкой, в качестве внештатного рыбинспектора гонял браконьеров.

И продолжал писать, но «в стол». Из рассказа «Придурки»: «...И я думал и думал о том, как же случилось, что столько крови, ненависти и слез дали неумолимо выжать из себя люди во имя того, чтобы земля, за которую уплатилось столь жестокой ценой, заросла хламными породами деревьев, затянута ржавой водой. Как явилось, что в исконно русских краях удачливое воровство ныне ставится много выше труболюбия, агрессивное хамство возвысилось до норм поведения, таимая прежде жестокость стала обыденной. Как?..»

Лишенный выхода на издательства и в «толстые журналы», он вскоре занялся непростым, но весьма прибыльным литературным промыслом – писанием киносценариев. Слава богу, в кинематографических кругах знакомств с головой хватало. Для начала принялся «окучивать» среднеазиатские киностудии. За фильм «Служу Отечеству» даже был удостоен Государственной премии Узбекской ССР.

«Я с ним и при жизни ругался и сейчас могу повторить, что он зря расходовал себя на кино, на то, что сейчас называется «экшн», – рассказывал все тот же Михаил Рошин. – Он мог вырасти в очень интересного прозаика, если бы меньше мотался по студиям страны... Не одному ему надо было зарабатывать...»

Андрей Тарковский на сей счет высказывался еще жестче: «... Пробуждают во мне сочувствие те художники, поэты, писатели, которые полагают, что они попали в ситуацию, когда «работать» для них становится невозможным... Чтобы выжить, требуется немного. Но зато ты свободен в своей работе. Издаваться, выставляться – это, конечно, необходимо, но когда это становится невозможным, для каждого все же всегда остается самое существенное – возможность заниматься творчеством, не дожидаясь чьего-либо разрешения... Если писатель, невзирая на свой талант, прекращает писать, потому что его не издадут, он и не писатель, собственно. Воля к творчеству отличает художника от нехудожника, и это решающий критерий для истинного таланта...»

Работая в киноэкспедициях, Макаров по-прежнему близко к себе никого не подпускал. Да и коллеги сами сторонились. Он тихо появлялся на съемочной площадке, тихо уходил. Но иногда взрывался в гнев. Во время съемок «Новые приключения неуловимых» вдрызг разругался со своим соавтором, режиссером-постановщиком Эдмондом Кеосаяном, с которым

дружил еще со времен Большого Каретного. Скандал вышел жуткий. Кеосаян даже попытался самостоятельно переделать сценарий, чтобы убрать из титров фамилию Макарова.

Один из главных принципов, которые внушал своим друзьям Левон Кочарян, – взаимовыручка, а в работе – артельность. Попавший в «обойму» по возможности должен был, как ведомый, пытаться впрягать в общую телегу друзей. Кочарян наглядно показывал всем, как следует поступать. Работая в картинах «Увольнение на берег», «Живые и мертвые», он правдами и неправдами проталкивал без всяких проб, пусть даже на эпизодические роли, Владимира Высоцкого.

По мнению кинорежиссера Геннадия Полоки, Высоцкий тоже всегда вносил дух бригадной работы, располагающей доброты, которая открывала людей, хотя он и знал, что «общая телега тяжела». А случись беда, кто-то из близких ему людей заболел, Владимир бросал все и занимался добываем дефицитных лекарств, устройством захворавшего человека в больницу, вызванивал лучших врачей и пр. И безумно обожал делать подарки.

Они старались покрепче держаться друг друга, особенно в трудные минуты. В период опалы и вынужденного простоя Андрея Тарковского после «Андрея Рублева» Артур Макаров предложил режиссеру идею нового фильма. И они сочинили сценарную заявку под названием «Пожар». Главным героем был цирковой гимнаст, который участвует в ликвидации пожара на нефтепромысле. Предполагался авантюрный фильм катастроф с множеством трюков и спецэффектов. Прочитав синопсис, Высоцкий сразу заявил о едва прописанном циркаче:

– Эта роль – для меня!

За идею ухватился режиссер Геннадий Полока. Но по разным причинам киностудии от реализации идеи сценаристов отказались.

Долго лежала без движения другая кинодрама Артура Макарова – об отважном рыбинспекторе и его непримиримой войне с браконьерами. Тарковский посоветовал своему вгиковскому приятелю Александру Гордону: «Хорошо было бы тебе его поставить...» Гордону сценарий понравился: «Все было написано не только с любовным отношением к русской природе, но и с явным знанием преступного мира». Молодой режиссер долго и упорно предлагал сценарий в разные объединения, однако он везде был непроходным из-за скрытых намеков на связь браконьеров с местной милицией, то есть с властью.

В мутные годы дотаганковской биографии Высоцкого друга, по мнению Люси Абрамовой, любили его, но с жалостью. Творческого человека талант изнутри раздирал. А тут безделье, беспомощность, обломы на каждом шагу...

Понимая ситуацию и пользуясь своим непререкаемым авторитетом, Левон Кочарян буквально приказал своему приятелю, кинорежиссеру Эдмонду Кеосаяну, который запускался с фильмом «Стряпуха», взять Владимира в картину:

– Кес, мне надо с тобой очень серьезно поговорить. Ты должен взять в свой фильм Володю!

– Лева, что я тебе плохого сделал?! Это же камень на мою шею! Взять человека и воспитывать его!

– Ты должен! И будешь ему, если надо, и режиссером, и опекуном, и отцом!

Кес, само собой, не осмелился послушаться старшего. Жена Кочаряна Инна позже рассказывала, что отношения у Высоцкого с Эдмондом складывались сложно: «Кеосаян два раза выгонял Высоцкого. И Лева дважды уговаривал Кеосаяна снова его взять. Мы получили очень интересное письмо от Володи... Это письмо было стилизовано под чеховский рассказ «Ванька Жуков»: «Дорогой Левон Суменович, приезжай поскорее, Кеосаян бьет меня селедкой по голове...»

Более того, режиссер, словно в отместку Высоцкому за шалости, решил озвучить его героя голосом другого актера, чтобы перекрашенного в блондинчика Владимира на экране и вовсе никто не узнал. «Когда вся эта история закончилась, торжествовал Кеосаян, мы у Левы

устроили «суд чести», и должен сказать, что Володя признал свою ошибку. Убогая (по драматургическому материалу) роль положительного героя мало помогла Высоцкому, и он с горечью говорил друзьям: «Опозорился, испачкался, а положения не получил. И зачем только я шел на этот компромисс?!»

В 1965 году молодой директор Одесской киностудии Геннадий Збандут пал под напором фронтовика-десантника Григория Поженяна и разрешил ему самостоятельно поставить фильм «Прощай» о героической операции по захвату в конце войны немецкого морского конвоя. Поэт Поженян был великолепным режиссером по жизни. Но режиссер кино – профессия особая. На помощь другу в качестве спасательного круга пришел всё могущий Левон Кочарян. Пока снимали «Прощай», у Кочаряна, наслушавшегося всяческих историй, былей и баек о героях-черноморцах, возникла идея самому снять лихой приключенческий фильм о войне, о морях торпедных катеров, совершавших дерзкие вылазки к оккупированному Севастополю.

Вернувшись из киноэкспедиции, Левон вместе с Артуром Макаровым принялись сочинять сценарий. Потом друзья подключили к работе Андрея Тарковского, который переживал далеко не лучший этап в своей жизни. После триумфа «Иванова детства» на Венецианском фестивале начались злключения с «Андреем Рублевым», вплоть до полной приостановки картины. Полное безденежье плюс развод с женой, отсутствие жилья (свою квартиру он, естественно, оставил Ирме), вынужденное проживание у Кочарянов.

С приходом Тарковского история о лихих торпедниках постепенно превратилась в рассказ о группе десантников, попавших в глубокий тыл врага. Увлечшись, соавторы принялись придумывать фантастические трюковые эпизоды, в которых Кочарян как раз был дока.

– Ребята, это должна быть наша, советская «Великолепная семерка», – убеждал Тарковский, – только не на лошадях, а на автомашинах, велосипедах, самолетах и катерах!

При утверждении сценария и Левона Кочаряна в качестве режиссера Збандут предложил Тарковскому стать художественным руководителем постановки. Тот согласился, подписал договор, получил аванс, связав себя, таким образом, с фильмом намертво. И материальными, и моральными обязательствами.

Режиссер-постановщик на съемочной площадке – это как капитан на корабле, царь и бог. Мудрый Кочарян, получив возможность впервые самостоятельно поставить картину, решил превратить будущие съемки в увлекательную экспедицию, в «предприятие друзей», коллективное приключение. Он, как добрый волшебник, взял и одним махом переселил компанию с Большого Каретного на южный берег Крыма. Кроме профессиональных актеров: Николая Крючкова, Анатолия Солоницына, Жанны Прохоренко – в киногруппу он включил стармеха Олега Халимонова, колоритного юриста Анатолия Утевского, врача-радиолога Аркадия Сви-дерского, каскадера Олега Савосина и других знакомых ребят. Юрий Гладков от съемок гордо отказался, сказав, что в роли фашиста сниматься не станет. В фильме должен был сниматься и Владимир Высоцкий, но в тот момент он был занят на съемках фильма «Служили два товарища», а главное – у него всюду полыхал роман с Мариной Влади.

На съемках в Крыму было весело и бесшабашно, на каждом шагу каждый старался импровизировать, выдумывая какие-то дикие трюки, предлагая новые сюжетные повороты. С приходом зимы художественный руководитель картины Андрей Тарковский уехал в Москву, полагая, что съемки надо законсервировать до следующего лета. Но Кочарян не сдавался, каждый день упрямо назначая съемки. Выходили на катере в бушующее море, пытались снять «летние» сцены, убирали снег с крымских скал, чтобы снять хотя еще один кадр. В конце концов киногруппа вернулась в Одессу, и здесь Кочарян почувствовал себя плохо, во время досъемок у него заболело в паху.

Диагноз потряс: рак, медлить нельзя. Лева лег в онкоцентр на Слободке, где ему и сделали операцию. Съемки были приостановлены. Почувствовав себя лучше, Кочарян улетел в Москву, забрав с собой весь отснятый материал. В начале лета в кабинете директора Одес-

ской киностудии состоялся тяжелый разговор с участием Тарковского и Макарова. Андрей сказал, что Кочарян продолжить работу не сможет, и предложил назначить нового, одесского режиссера. Директора это предложение удивило, и он напомнил Андрею Арсеньевичу, что он является худруком фильма и, пожалуй, только ему и заканчивать картину. Тарковский наотрез отказался. Больше того: сказал, что снимает свою фамилию с титров. Збандута это возмутило, и он заявил, что лично проследит, чтобы фамилия Тарковского стояла в титрах: «И пусть вам будет стыдно, если картина не получится такой, какой вы ее задумывали!» На следующий день в Одессу прилетел Кочарян с твердым намерением самому завершить съемки. Узнав о скандале, он круто поговорил с Тарковским, и Андрей тотчас умчался в Москву, оставив друга один на один с фильмом и болезнью. Больше в Одессу Тарковский не возвращался.

Изрезанный и облученный, Левон продолжал работу: его привозили на съемочную площадку, и он репетировал с актерами, полулежа в кресле на колесиках, и два раза в день медсестра впрыскивала наркотики, чтобы убить боль. Во время съемок Кочарян часто терял сознание, но упорно продолжал работу, а вся группа, собравшись в кулак, помогала ему их закончить. Но сил на финиш у Левона уже не хватило – монтаж, досъемки, озвучание провел Эдмонд Кеосаян. Премьера состоялась поздней осенью 1968 года в Москве в Доме кино. Как сказал потом Владимир Высоцкий, «Лева Кочарян успел снять только одну картину как режиссер – «Один шанс из тысячи»... Он его поймал и быстро умер... Он жил жарко – вспыхнул и погас – мгновенно».

После премьеры вновь был онкодиспансер. «Однажды мы приехали к нему с Андреем Тарковским. Лева лежал зеленый: он принимал тогда какую-то химию, и цвет лица у него был желто-зеленый, – вспоминал о тех тяжелых днях Юрий Гладков. – Мы были настроены очень решительно: расцеловали, растормошили его. И Лева немного приободрился...»

«Потом начался странный процесс ремиссии, – продолжал рассказ Юлиан Семенов, – и Левон неожиданно для всех стал прежним Левоном, когда вместе учились, ездили танцевать в «Спорт», устраивали шумные «процессы» в молодежном клубе, который помещался в церкви на Бакунинской, и сражались в баскетбол с Институтом востоковедения в спортивном зале «Крылышек»... «В больницу, – подхватывал нить «истории болезни» Михаил Туманишвили, – мы не просто приходили и навещали – мы его похищали... То домой, то в шашлычную... А Лева все спрашивал: «А где Володя?» Лева жутко переживал это...» Кеосаян подозревал Высоцкого в черствости: «Кочарян болеет месяц, два, три – Володя не приходит. Однажды Лева мне говорит: «Знаешь, Володя приходил. Принес новые стихи – потрясающие!» И начал мне про эти стихи рассказывать. А Володя ведь не был в больнице, просто кто-то принес эти стихи... А в конце громадный Лева весил, наверное, килограммов сорок. И вот однажды он мне говорит:

– Хочу в ВТО! Хочу и все!

Поехали, сели за столик, заказали. Смотрю, проходят знакомые люди и не узнают его. Леву это поразило:

– Слушай, Кес, люди меня не узнают. Неужели я так изменился?!»

«Когда Левон почувствовал, что ремиссия кончается, – продолжал скорбную хронику Юлиан Семенов, – и постоянная слабость делает тело чужим, и что большая, осторожная боль снова заворочалась в печени, он отказался лечь в больницу, попросил после смерти его кремировать («Нечего вам возиться со мной, теперь места на кладбище дефицит») и еще попросил накрахмалить полотняную рубаху с большим воротником и синим вензелем ООН на правой стороне... Он так и умер: рано утром проснулся, попросил... надеть на него полотняную рубаху с большим, модным в этом сезоне воротником, посмотрел на свои руки и сказал: «Какие стали тонкие, как спички, позор экий, а?» Потом ему помогли перейти в кресло – к окну. Он посмотрел на свою тихую улицу, вздохнул и сказал:

– Ну, до свидания, ребята...»

Гражданская панихида по Левону Суменовичу Кочаряну состоялась в конференц-зале киностудии «Мосфильм» 16 сентября 1970 года. Провожавшие его в последний путь видели: Левон лежал в гробу – маленький и желтый, с припудренным лицом и совсем не похожий на себя. Одному из своих друзей еще за пять лет до своей смерти Левон Суменович говорил: «Я отдам концы в сорок... Смейся, смейся, дуралей!.. Я живу чувствами. И вот смотрю тебе в глаза и чувствую, что ты думаешь, но выразить этого не умею. Умел бы – стал бы гениальным режиссером. Поверь, дорогой, мне: в сорок я сыграю в ящик...»

Народу было великое множество. И совсем не обязательно из мира кино. Даже Миша Ястреб пытался прорваться, размахивая на проходной студии справкой об очередном освобождении, а его не пускали. Но вышел кто-то с красной книжечкой и провел его к гробу. Ястреб всхлипывал: «Гады живут, боги умирают...» Поминали Леву в старом доме на Большом Каретном. Большая квартира не вместила всех, кто пришел помянуть, люди стояли на лестничных площадках, просто сидели на ступеньках.

Тем не менее смерть Кочаряна окончательно и закономерно расколола некогда крепкое и, казалось бы, непоколебимо стойкое и единое сообщество, команду. Хотя первые признаки легкой отчужденности были заметны еще с середины 60-х годов. Не могли быть случайными горькие строки, проскальзывавшие в письмах Высоцкого Игорю Кохановскому, уехавшему в далекий Магадан: «Васечек! Друзей нету! Все разбрелись по своим углам и делам. Очень часто мне бывает грустно, и некуда пойти, голову прислонить. А в непьющем состоянии и подавно...» Или такие: «Часто ловлю себя на мысли, что нету в Москве дома, куда бы хотелось пойти...».

Через десять лет после смерти Кочаряна – в июле 1980-го – точно так же гибель Владимира Высоцкого разорвет круг его самых близких друзей.

Что же касается черствости... Испытывая чувство вины перед ушедшим другом, Высоцкий пытался объяснить: «Я вообще не ходил: ни когда Левон болел, ни в больницу, ни на панихиду – никуда. Я не мог вынести, что он – больной... Я не смог видеть Леву больного, непохожего... Лева – и сорок килограммов весу... Я не смог!»

А разве не было чувства вины перед Левоним у других его друзей? На похоронах Кочаряна не было и Андрея Тарковского. 14 сентября 1970 года в своем дневнике он записал: «Сегодня на студии Юсов сказал: «Умер Лева Кочарян». Ужасно. Как-то на душе нехорошо. Может быть, оттого, что мы были в результате нашей могучей совместной деятельности по поводу «Шанса» недовольны друг другом. Разошлись, в общем, тогда, когда он был болен уже. Скверно. Почему-то чувство вины перед ним не дает покоя. Хотя сделал я все, чтобы помочь ему в том, в чем я мог. Но все-таки мы долгое время были близкими людьми. На похороны я, наверное, не пойду. Ему все равно теперь, а делать вид – не хочется».

Осталась неразгаданной еще одна дневниковая запись Андрея Тарковского, сделанная им ровно за неделю до смерти Левона Кочаряна: «Мне кажется, что Артура Макарова я раскусил. Очень слабый человек. То есть до такой степени, что предает себя. Это крайняя степень униженности...»

\* \* \*

Следственная бригада, сформированная прокуратурой по делу об умышленном убийстве гр-на Макарова Артура Сергеевича, дотошно, шаг за шагом, восстанавливала события последних лет жизни покойного, пытаясь обнаружить возможные мотивы преступления. А их, как оказалось, с лихвой хватало.

Было установлено, что накануне убийства, 2 октября в 10.30, личный водитель Макарова Владимир Мочалов заехал за «шефом» на дачу в Песках. В Москве Артур Сергеевич до 17.00 посетил несколько магазинов. Приехав домой, на улицу 26 Бакинских комиссаров, он отпустил водителя. Вечером на улице Вавилова, 5 Макаров встретился со своими старинными прияте-

лями – генеральным директором совместного предприятия «Квинт» Тариэлом Джапаридзе и режиссером студии «Грузия-фильм» Михаилом Калатозишвили. Последний собирался утренним рейсом в Тбилиси на похороны бабушки. За упокой выпили по 15 граммов. Около полуночи Калатозишвили отвез друга на квартиру Жанны Прохоренко. Сыщики установили, что в два часа ночи Артур Сергеевич определенно был еще жив, что подтверждалось его звонком в Париж своей секретарше, которую он поздравлял с поступлением в тамошний университет...

На следующий день с утра Макаров собирался ехать в свою фирму. В 11.00 за ним, как обычно, заехал водитель. На его настойчивые звонки никто не реагировал. Подумав, Мочалов отправился в соседний дом, где проживала дочь Прохоренко Катерина, у которой должны были быть ключи от квартиры матери. Далее, как уже известно, поступил тревожный звонок в дежурную часть ОВД Западного административного округа столицы...

В целом Артур Сергеевич слыл довольно успешным киносценаристом, отдавая предпочтение приключенческому жанру. Кроме того, нередко перелицовывал свои криминальные сценарии в небольшие повести, которые публиковал обычно в ежегоднике «Поединок». В толстых журналах время от времени печатались его рассказы. В 1982 году, после долгих лет ожидания, вышла в свет его первая книга «Много дней без дождя».

В 1970–1980-е годы Макаров обитал, главным образом, в своем «медвежьем углу» на Верхней Волге. Знакомым говорил, что, занявшись охотой, перестал думать о деньгах. Он гордился тем, что самолично завалил одиннадцать медведей, смачно, в деталях описывая технологию убийства этого зверя. В Москве же бывал наездами. Его всегда тянуло к людям неординарным, с судьбами опасными и сложными. Он дружил с сыщиками и браконьерами, судьями и уголовниками. Изучал внутренний мир своих будущих героев. Он был талантлив, но несколько театрален. За свою жизнь он, словно артист на сцене, прожил несколько придуманных. Артур Сергеевич всегда точно знал, чего хотел, и шел своим путем, сообразно натуре и душе... Михаил Рошин даже завидовал: «Правильно живешь: писатель сам создает свою биографию»

Он всю жизнь сжигал мосты: в один момент бросил все – и писательство, и кино, и промысел. Может быть, перестал бить медведя, разглядев в звере что-то человеческое? Или были другие причины? Никто толком не знал. При кажущейся общительности Макаров никогда не был говорлив, не изливал душу, будучи достаточно закрытым человеком.

Вернувшись в Москву, Артур Сергеевич вплотную занялся коммерцией. Как выяснили опера, «серебряные гвозди», изготовлением которых якобы занималась макаровская фирма «Арт Гемма», были лишь прикрытием, «крышей» реального бизнеса Макарова – алмазов, точнее, их огранки.

В те годы в России гранильное дело находилось на пещерном уровне, якутские алмазы по дешевке продавались в качестве сырья транснациональной компании «Де Бирс». За рубежом камни превращались в бриллианты, после чего обретали уже космическую цену. Поэтому начатое Макаровым дело имело большие перспективы. Сегодня трудно сказать, каким образом Артуру Сергеевичу удалось выбить у тогдашнего руководителя «Роскомдрагмета» Евгения Бычкова лицензию на столь редкостный вид деятельности. Поговаривали, что здесь немаловажную роль сыграл равноправный партнер Макарова по алмазному бизнесу митрополит Кирилл (нынешний патриарх). Но это были лишь слухи, ничем не подтвержденные. А возможно, Артур Сергеевич действовал здесь через свою коллегу по сценарному цеху, кинодраматурга Елену Бортвину, которая являлась супругой некоронованному «алмазному королю России» Евгению Матвеевичу Бычкову.

Компаньоны нашли помещение для гранильного цеха на улице Электродной, 2, закупили специальное оборудование за рубежом. Поставку сырья фирме Макарова благословил все тот же господин Бычков. После огранки камни вывозились за границу партнерской бельгийской фирмой Diamond Trust Gr., хозяином которой являлся некий Шарль Гольдберг. Алмазный бизнес, безусловно, был делом чрезвычайно прибыльным, но столь же опасным.

Положение фирмы «Арт Гемма» основательно пошатнулось, когда правоохранители все-раз взяли за ее высокопоставленного покровителя – Бычкова, заподозрили в коррупции и временно отстранили от занимаемой должности. А реальная угроза деятельности фирмы возникла летом 1995 года, когда Генпрокуратура РФ возбудила уголовное дело против фирмы Golden ADA, Бычкова и... Шарля Гольдберга. (Лишь в 2001 году Верховный суд России снял с Бычкова все обвинения.) В свое время в одном из детективных сценариев Артур Макаров убедительно показывал, сколько горя, крови и слез приносят людям драгоценные камни. А вышло: сам забыл об этом.

Кроме алмазов, Макаров с партнерами позволял себе баловаться производством подпольной водки из украинского спирта. По данным следствия, розлив «паленки» осуществлялся в Грузии, где у Артура Сергеевича было полным-полно приятелей и знакомых. Но с ними у него в последнее время якобы возникли финансовые разногласия и взаимные претензии. На кону стояли немалые суммы. Свидетели утверждали, что Макаров без ущерба для себя мог спокойно дать в долг 20–30 тысяч долларов. А в России чаще убивают не должников, а кредиторов.

Впрочем, старые друзья верили: через какое-то время Артуру надоели бы все эти алмазно-водочные, откровенно мафиозные дела, и он опять бы уехал в свою деревню, к охоте, рыбалке, собакам и письменному столу.

Когда солнечным октябрьским днем в Доме кино они прощались с Артуром Сергеевичем Макаровым, Арчиком, они прощались с киносценаристом и писателем, а не с бизнесменом и алмазным дельцом. Потом были горькие поминки. В том самом кафе, где когда-то, лет тридцать назад, сидя за угловым столом, с бутылкой водки и горячими пельменями, спорили о новых временах и о том, что их ждет впереди... На поминках никто не вспоминал о том, как в молодости, да и зрелые годы Артуру нравилось изображать таинственного и могущественного «пахана». Говорили лишь о том, что Макаров был из той редкой породы людей, которые нужны друзьям в любую минуту и которые никогда не оставляют их обделенными.

После гибели любимого мужчины Жанна Прохоренко замкнулась, ушла в себя, превратилась в настоящую затворницу, укрывшись в своей Глуши. Там у нее стоял бревенчатый домик и летняя кухня. Огород, сосновый бор, озеро Беризна, два десятка покосившихся, убогих избышек с сердобольными соседями – это и было то, что требовалось бывшей знаменитой актрисе.

Версии относительно мотивов убийства Артура Сергеевича Макарова множились с удручающей скоростью. Еще одну подкинул следствию актер Виктор Косых, который рассказал о том, как Макаров любил похвастаться редкостной почтовой маркой стоимостью более сотни тысяч долларов. При обыске сыщики ее не нашли. Как не обнаружили и уникальной коллекции холодного оружия, которую долгие годы собирал Артур Сергеевич. Отдельные ее экземпляры даже значились в официальных мировых каталогах. Кстати, заколот Макаров был как раз одним из коллекционных образцов – огромным (длиной в 33 сантиметра) испанским клинком. Потом начались поиски какого-то неприятного кавказца, который несколько раз появлялся у Макарова в офисе. Вдова вспоминала слова мужа об этом типе: «У него глаза наркомана, и его надо опасаться». Тот якобы по чьему-то наущению требовал с Артура большие деньги, но Макаров наотрез отказывался платить. Ну и...

*А счетчик – щелк да щелк – да все равно  
В конце пути придется рассчитаться...*

Таким образом, причин для жестокой расправы над бывшим писателем и сценаристом было предостаточно.

Словно чуя опасность, Артур Сергеевич вел себя в последнее время крайне осторожно. Выбил себе разрешение на помповое ружье и пистолет системы своего однофамильца Мака-

рова. Кроме того, хранил в укромном месте незарегистрированный пистолет «ТТ». Его почти неотступно сопровождал шофер-охранник, а на старой даче Герасимовых в Песках Макаров на всякий случай держал целую псарню. Он примерял на себя кинороль крутого столичного бизнесмена, не помышляя о трагическом финале непридуманной трагедии.

Макаров часто менял места ночлега, располагая несколькими «берлогами»: дома в Подмосковье и в Тверской области, совместная с законной женой Людмилой четырехкомнатная квартира на Кутузовском проспекте, та самая проклятая квартира на улице 26 Бакинских комиссаров, где он и был убит. Плюс к этому Артур Сергеевич снимал жилье на проспекте Вернадского. Но при всем многообразии мест обитания он был прописан по совсем другому адресу. И даже в другом государстве – в Украине.

Его постоянную настроенность и подозрительность отмечали многие знакомые. Стало быть, убить Макарова могли лишь те люди, которым он доверял. А доверял он мало кому... Но, видимо, своих ночных гостей считал друзьями, коль сам открыл им дверь, проводил к столу с закусками, приготовил напитки. А затем хозяин оказался на полу со связанными нейлоновым шпагатом за спиной руками. Жертву явно пытали. В квартире все было перевернуто вверх дном, царил страшный беспорядок, по полу разбросаны вещи, разбита посуда. Преступники перерыли весь дом, но почему-то не тронули крупные суммы долларов и рублей. Не похитили дорогие картины. Убийцы искали нечто другое. И, видимо, нашли. Во всяком случае, потайной сейф, о котором знали считанные единицы людей, был профессионально вскрыт...

Дни тянулись за днями, а конца работе по уголовному делу № 2261947 не было видно. Потом дубоватый следователь прокуратуры Ревазишвили, который курировал его, попался за взятке. Дело временно приостановили, а затем вновь принялись за поиски убийц. Но все было напрасно. «Всяк всяком», – вздыхали профессионалы. В общем, темная, запутанная история так и закончилась ничем. Преступников не обнаружили. Дело закрыли.

\* \* \*

...Рассказывают, когда 25 июля 1980 года случилась страшная трагедия с Владимиром Высоцким, одним из первых на Малую Грузинскую примчался именно Артур Макаров. И, обнаружив там его друзей, пребывавших в полной прострации, тут же по-хозяйски взял все горестные предпохоронные бесчисленные хлопоты в свои руки. Многим из последнего окружения Высоцкого жутко не понравилась подобная деловитость и распорядительность. «Да кто он такой, что он себе позволяет?..» – еле ворочая языками, возмущенно вопрошали «самые близкие». А Артур делал свое дело, отмахиваясь от слюнявых предложений посидеть, выпить, помянуть, погоревать, какого человека все они потеряли. Он, наблюдая за жизнью друга в последние годы как бы издали, со стороны, чувствовал: «Из-за своей болезни Володя был окружен людьми другого – особого сорта... Наверное, каждый из них был хорош для него и нужен... Но Володя отлично знал им всем цену».

Позже, разбирая рукописный архив друга, он наткнулся на неизвестное ему стихотворение, которое подтвердило его догадку:

*Мой черный человек в костюме сером.  
Он был министром, домуправом, офицером.  
Как злобный клоун, он менял личины  
И бил под дых, внезапно, без причины.  
И, улыбаясь, мне ломали крылья,  
Мой крик порой похожим был на вой.  
И я немел от боли и бессилья  
И лишь шептал: «Спасибо, что живой».*

.....  
*Но знаю я, что лживо, а что свято, —  
Я это понял все-таки давно.  
Мой путь один, всего один, ребята, —  
Мне выбора, по счастью, не дано.*

После смерти Высоцкого он не предал Марину Влади, не отвернулся от неожиданно возникших проблем. Вместе обсуждали, что делать с долгами. И когда встал вопрос: кому этим вплотную заняться, Марина сказала: «Артур, кто, если не ты?» Хотя он отнекивался, она тут же выписала доверенность на имя Артура Макарова. И он взвалил на себя этот крест – выплачивать долги Высоцкого. «37 тысяч 800 рублей, – говорил Макаров. – Продав обе его машины, я выплатил их, и все друзья, товарищи и знакомые... эти выплаты приняли. Лишь скульптор Зураб Церетели отказался получать долг в пять тысяч рублей, заметив при этом, что в Грузии, если умирает друг, то в его семью деньги несут, а не выносят».

А остальные...

## «ГОВОРЯТ, АРЕСТОВАН ДОБРЫЙ ПАРЕНЬ ЗА ТРИ СЛОВА...»

Андрей Синявский

*«И я заплакал – не над своей слепотой... И не по безвременной молодости... А по вставшему седлу, как я это назвал, разделившему меня на две половины, на до и после выхода из-за проволоки, как будто предчувствуя, как трудно вернуться оттуда к людям и какая пропасть пролегла между нами и ними».*

*Абрам Терц. «Спокойной ночи»*

- ...Ох, я, наверное, не вовремя? – замялся в дверях Высоцкий. – А вы уходите, да?  
– Володя, ты для нас всегда вовремя! – засмеялся Андрей Донатович. – Просто мы сейчас собираемся на день рождения к Юлику. Ты так неожиданно...  
– Так телефона-то у вас нет.  
– Ну, тут уж вины нашей нет, Володя. А ты как, в театр или из театра?  
– Да нет, сегодня как раз образовался свободный вечер, решил заскочить. Хотел кое-что новенькое показать...  
– Вот же черт, как нескладно. – Синявскому явно не хотелось отпустить своего гостя.  
– Андрей, чего ты маешься? – вмешалась в разговор Маша, жена хозяина дома. – Володя, коль ты свободен, пошли с нами. Даниэль тебя любит, будет очень рад. Твое появление будет для него приятным сюрпризом. А мы будем считать тебя нашим подарком имениннику. Что скажешь?..  
– Так я, как пионер...  
– А давай мы его еще и розовой ленточкой перевяжем, – предложил повеселевший Синявский.  
– Ага, и горн в руки, – не удержалась Мария Васильевна.  
– Лучше уж гитару, – взмолился Высоцкий.

Пока от Хлебного переулка добирались до «лежбища» именинника на Маросейке, Синявский выспрашивал у своего бывшего студента, как ему послужится в новом театре, о котором сегодня вся Москва шумит, считая, что Любимов скоро «Современник» за пояс заткнет... А попутно сетовал, что самому выбраться на Таганку грехи земные не позволяют – институт, студия, «Новый мир», библиотека, письменный стол, Машка в декрете, крутиться надо, ты, как отец семейства, сам должен понимать, у тебя ведь уже два пацана? То-то и оно... Так что я, можно сказать, последние деньки на воле догуливаю, сказал Андрей Донатович и, спохватившись, ругнулся, чуть слышно добавив что-то вроде: «Тьфу ты, прости, Господи, типун мне на язык...»

В доме Юлия Даниэля было, как всегда, многолюдно, шумно, весело и безалаберно. Подле именинника суетилась очередная пассия, подкладывая ему в тарелку очередную порцию оливье. Маша, пристроившись рядом с мужем, любовалась виновником торжества: «Ох, блудун... Гусар, поэт, красавец! И, главное, всех своих баб искренне любит. И расстается умело, не оставляя после себя несчастных...» Андрей Донатович помалкивал, тихо усмехался в бороду, угадывая Машины мысли. А главный «подарок» имениннику, и впрямь опоясанный атласной ленточкой, был в центре внимания, хотя и сидел где-то с краю стола. И когда Высоцкий впервые запел нам песню про Нинку, которая жила со всей Ордынкою, вспоминала Мария Розанова, глубокие собачьи брыли на Юлькиной морде вдруг разгладились, личико посветлело, он зашевелил губами, будто заучивая про себя слова, а когда Высоцкий, кончив, прихлопнул

рукой струны, Юлька мечтательно повторил: «И глаз подбит, и ноги разные – а мне еще сильнее хочется», и резюмировал: «Вот так надо любить женщин!..»

Народ за столом на «Нинку» реагировал с восторгом. Но бдительному Синявскому захмелевшая разношерстная компания в какой-то момент перестала нравиться: «Все как-то перешептывались, перемигивались, и я даже опасался за Высоцкого... А он всё пел. Через каждую песню повторял свою «Песню о стукаче»:

*Он пил, как все, и был как будто рад.  
А мы – его мы встретили как брата...  
А он на завтра продал всех подряд, —  
Ошибся я – простите мне, ребята!..*

Буквально через каждую песню, давая понять, что если кто-нибудь здесь «настучит», то его убьют... Это было очень здорово!»

Правда, как выяснилось позже, грозному предостережению Владимира Высоцкого – «И вы его отдайте мне, ребята!..» – вняли не все...

\* \* \*

На нового почасовика, преподавателя русской советской литературы в Школе-студии МХАТ Андрея Донатовича Синявского внимание обратили прежде всего, конечно, студентки: «Пришел к нам такой немного странный человек, – рассказывала сокурсница Высоцкого Марина Добровольская, – молодой, но уже с бородой. Глаза тоже странные: не поймешь, на тебя смотрит или нет... И говорит очень тихо, с расстановкой, немного растягивая слова. Но сразу же – ощущение доброты и доверия к тебе... Самое главное – что говорит! Называет имена, которые мы не знали. Рассказывает о вещах, которые мы не читали. Бунин, Цветаева, Ахматова... У нас были не только лекции, но и беседы. Синявскому можно было сказать, что Бунин тебе ближе, чем Горький... Только он всегда требовал, чтобы твое мнение было обосновано. Почему нравится? А почему не нравится?.. Синявский учил нас мыслить...»

Он был от природы талантливым педагогом, воспитателем. Не поучал, а исподволь подготавливал своего собеседника к самостоятельным выводам, предостерегал от опрометчивых поступков, освобождая от иллюзий и ложных представлений.

«Мы его очень любили, мы его просто обожали!..» – признавалась милая и непосредственная Тая Додина. Еще бы, такой импозантный мужчина! Одна борода чего стоит! По тем временам это было вызывающе смело. Окладистая, с легкой проседью, она добавляла Синявскому некой загадочности, дремучей старославянской мифологичности.

Правда, сам Андрей Донатович посмеивался: «Борода – это пучок антенн. Это подсказки. Это связи с космосом». И невозможно было понять, то ли шутит он, то ли нет. Только в своем «Голосе из хора» Синявский как бы случайно проговорился: «Борода, доброта... Все звуки совпадают...»

Не только внешностью, но и своими повадками, манерами Андрей Донатович напоминал героя русских сказок. Конечно, не Илью Муромца, не Добрыню Никитича или Соловья-разбойника, а скорее – безобидного лешего, домового. Маленький, сутулый, он не смеялся, а хихикал, не говорил, а приговаривал. И на стуле сидел, как на пенке... Не выходя из образа, он даже свои книжки позже подписывал – «С лешачьим приветом...».

Тихий исследователь творчества Максима Горького и Маяковского, ученый сугубо академического склада, попавший «в силу случайных обстоятельств в студенческую среду, к тому же в атмосферу лицедейскую, вольную, Андрей Донатович, как он сам потом признавался, неожиданно для себя обнаружил в ней яркие, выпуклые индивидуальности, которые пусть не

блистали знанием курсового материала, но зато умели вытворять на учебной сцене такое... Это открытие его поразило. Ведь он-то был совершенно уверен в том, что «стандартизированный человек – человек массы – может быть, самое ужасное порождение советской цивилизации». А тут, во мхатовском училище, он впервые столкнулся с молодыми людьми, мыслящими по-новому, раскованно, смело, без оглядки на каноны.

Из любопытства знаток творчества основоположников социалистического реализма Синявский стал бывать на занятиях сценического мастерства, посещал экзамены своих студентов по специальным дисциплинам. Окончательно же покорила его «капустник», где солировали Владимир Высоцкий и Геннадий Ялович.

Марина Добровольская вспоминала: «Одна песня была комедийная, и они ее выстроили как диалог: один человек рассказывает, в другой уточняет:

*Один: Я вышел в сад весенний прогуляться,  
Стоит она...  
Второй: Стоит она?  
Один: Не в силах воздухом весенним наслаждаться,  
Он подошел и речь завел:  
«Нельзя ли с вами прогуляться?»  
Второй: Она в ответ?  
Один: Она в ответ сказала: «Нет».  
И не мешайте мне другого дожидаться!*

Это было смешно... А потом была песня «На Перовском на базаре...», мы ее пели всем курсом, а я кричала: «Есть вода, холодная вода!»... Вот тут уж Синявский не удержался, принался подпевать и азартно прихлопывать в такт.

После сдачи экзамена по литературе, ребята подошли к своему преподавателю и, изображая заговорщиков, предложили: «Андрей Донатович, мы же знаем, что вы любите блатные песни. Позовите нас в гости, а мы будем вам целый вечер петь».

Так студенты впервые очутились в гостях у Синявского и Марии Розановой в Хлебном переулке. Они жили тогда в квартире, которая и после революции называлась шиповской. Кудрявый автограф господина Шипова венчал все казначейские билеты государственного банка России, где этот господин служил главным кассиром. После 1917 года из шиповских хором сотворили совершенно жуткую коммуналку с невероятным количеством жильцов. Синявским там досталось две комнаты – одна, «гостевая», как бы в бельэтаже, а вторая, «кабинет», в подвале.

«И вот когда они, мальчишки и девчонки, первый раз пришли к нам, – вспоминала Розанова, – там был Жора Епифанцев, Высоцкий, Гена Ялович... И они, действительно, замечательно пели... Высоцкий еще своих песен не пел, пелись исключительно всякие блатные, полублатные песни. И Высоцкий был невероятно хорош. Он еще не хрипел, он еще не кричал, тем не менее был очень хорош. И как-то, в общем, тут завязались отношения сразу... Мальчишка с гитарой умел делать то, что сам Синявский делать не умел, но обожал. Он абсолютно обожал дворовую песню. Мы их собирали, мы их коллекционировали. Еще не было магнитофонов, и мы их, где-то узнавая, перевирая, искажая, пели время от времени друг другу...»

И не только друг другу. Свою любовь к этому роду народного фольклора хозяева с удовольствием продемонстрировали юным гостям. Именно от них студенты впервые услышали куплеты про «Абрашку Терца, карманника известного», про Алешку, который «жарил на баяне», «классику жанра» – песенку про Марсель, где...

*... девочки танцуют голые,*

*А дамы в соболях.  
Лакеи носят вина там,  
А воры носят фрак!*

Дружеская обстановка располагала к вольному общению. Хотя в присутствии жены Андрей Донатович предпочитал помалкивать, придерживаясь им самим установленного правила: «Если в доме есть собака, самому хозяину нечего лаять». Главное заповедь дать, а там уж Мария сама все за него доскажет. А хозяину останется только бороду поглаживать и благодушно поглядывать вокруг: лучше Машки все равно не придумаешь, нечего и пытаться. Глядя на резвящуюся молодежь, Андрей Донатович время от времени оттопыривал указательный палец и без тени улыбки мечтально произносил: «Если бы стать скопцом – сколько можно успеть!..» И забавно ухмылялся в бороду.

Страсть к литературе у Синявского была наследственной. Еще до рождения сына, в начале 20-х годов прошлого века, его отец Донат (бывший левый эсер, между прочим, по секрету уточняла Розанова) опубликовал роман. Шедевром он не был, но дал повод автору считать себя состоявшимся писателем. Впрочем, продолжения не последовало. Мама же трудилась в библиотеке.

В 1943-м, по окончании школы, Андрей был призван в армию. После филфака МГУ он поступил в аспирантуру. Защитив кандидатскую по горьковскому «Самгину», трудился в Институте мировой литературы имени все того же великого пролетарского писателя. Нужда заставила параллельно подрабатывать почасовиком в Школе-студии МХАТ. «И мне, – признавался Синявский, – там было интересно». Глаза его при этом действительно смотрели в разные стороны: один – прямо, другой – вбок, и казалось, что он видит нечто недоступное собеседнику.

Тесная квартирка Синявского и Розановой под потолок была заполнена книгами, стены украшали почерневшие иконы, старая деревянная утварь. В те годы подобные интерьеры для Москвы были диковинкой.

Когда молодой ученый-филолог только начинал ухаживать за Марией, она, девушка деятельная и энергичная, первым делом потащила Андрея по своим излюбленным местам, в северные края, «в поисках святой Руси». И попала в точку. Синявский, как и она, живо интересовался древнерусской архитектурой, занимался российскими религиозными проблемами, старообрядцами. Северные земли исходили пешком, на попутках, а реки – на байдарках...

«Но рядом с этой Русью, рядом со слепой бабкой Ульяной, которая собирала иконы, ставила на заброшенном курятнике крест и открывала часовню, – рассказывала Мария Васильевна, – мы видели загаженные, испохабленные церкви... Была однажды история очень печальная, когда мы забрались на перекрытие колокольни... И там лежала кучка, пардон, дерьма. Это что – секретари обкома там накакали? Нет, это кто-то из великого русского народа. Виртуоз при этом был, ибо опустить штаны и присесть над бездной колокольни – это такой риск, такой полет фантазии и такая смелость!.. Зачем же было возмущаться, кричать: «Что с нами сделали?»

Будущий известный критик Георгий Гачев, работавший с Синявским в ИМЛИ, наблюдал: «Он, современный, рафинированный, но к первичному народному слою русской культуры относился как простодушный юродивый мужичок, как Иван-дурак... Андрей и Мария образовали как бы свое государство внутри советской системы. Планета Роси – Розанова-Синявский – почти Россия... Они и крестились ранее других... В Денькове сняли избу, вели хозяйство... К нему приезжало много людей, там они и капусту рубили, и пели, и Синявский блатные песни пел. В этой деревне Абрам Терц родился, в сарае, на отшибе от социума... Так можно было себе позволить мыслить, писать в абсолютной свободе, а не только трусливо в стол, но можно и печатать за рубежом... Тут он вышиб дно и вышел вон за положенные пределы. Игру с державой затеял, авантюра и риск...»

Впрочем, стоп. Речь об Абраме Терце впереди. В конце 50-х годов о писателе с таким чудным именем знали считанные единицы: собственно, его прародитель – Андрей Синявский, затем, естественно, Мария и один добрый их приятель...

А пока в прокуренном подвале дома в Хлебном переулке, 9 преподаватель русской литературы со своими студентами распевал блатные песни. Затем ребят пригласили в гости еще раз, потом еще и еще... «И как-то мы их очень полюбили, они полюбили нас...» – позже скажет Мария Васильевна.

Кроме мхатовских студентов сюда забегали на огонек будущие журналисты (Синявский также подрабатывал на факультете журналистики МГУ). А Мария Васильевна приглашала студентов Абрамцевского художественного училища, ВГИКа, студии Театра имени Моссовета, где она вела курс истории изобразительного искусства. «И мои, и его студенты перемешивались и превращались в такое общее, пардон, кодро, – любовно вспоминает те дни Розанова. – И среди них Высоцкий был главным певуном. Через некоторое время я завела магнитофон с большими катушками, специально только ради них...»

По окончании Школы-студии Владимир Высоцкий продолжал поддерживать дружески-почтительные отношения со своим бывшим преподавателем. «Когда он начал сочинять собственные песни, – улыбалась Розанова, – то сначала ужасно стеснялся, не мог признаться, что это песни его, и говорил, что просто где-то их слышал». Многие считали, что именно Андрей Донатович заставил Высоцкого серьезнее относиться к своим дворовым песням, полагая, что «Володино раннее творчество ближе к народному, самое главное, настоящее». Супруга Юлия Даниэля, литературовед Ирина Уварова, не сомневалась в том, что «именно Синявский... повлиял на стилистику песенного мира Владимира. Я имею в виду блатную романтику». Ей вторила Люся Абрамова, полагая, что «Володина культура и то, что под конец можно назвать его эрудицией, – это заслуга Синявского. Ни от одного человека Володя не воспринял так много, и никому он так и не поверял... Синявский очень серьезно относился к первым песням... За самую лучшую он держал «Если бы водка была на одного...».

Однажды Мария Васильевна, втайне от Андрея Донатовича, специально зазвала Высоцкого домой, чтобы записать целую бобину песен в его исполнении. И 8 октября, в день рождения Синявского, торжественно вручила имениннику. Только вот кому эти полуподпольные записи доставили больше удовольствия – авторитетному критику и строгому преподавателю Андрею Синявскому или хулиганистому писателю Абраму Терцу? – неведомо.

Дело в том, что к середине 50-х годов минувшего века, как признавался сам Синявский, у него «произошло... устойчивое раздвоение личности. На две персоны – на Андрея Синявского и Абрама Терца... «Человек – я, Андрей Синявский. Человек тихий, смиренный, никого не трогает, профессор. А в общем, ординарная личность. А Терц – это... моя литературная маска. Не только псевдоним литературный. Маска, которая, конечно, где-то совпадает с моим внутренним «я», но вместе с тем это что-то более утрированное, лицо, связанное в значительной мере с особенностями стиля. Вообще, человек и стиль для меня не вполне совпадают. Поэтому Абрама Терца я даже визуально представляю себе по-другому. У меня, например, борода. У Абрама Терца никакой бороды нет. Он моложе меня, выше меня ростом. Это такой худощавый человек, ходит руки в брюки, может быть, у него есть усики, кепка, надвинутая на брови, в кармане нож, и это связано с тем, что я взял это имя из блатной песни... Это отвечает потребностям, особенностям моего стиля, языка. Человек гораздо более смелый, чем я, Синявский. Авантюрный, лишь отчасти совпадающий с моей личностью».

Хотя Синявский лишь на словах прикидывался мирной, безобидной овечкой. Во всяком случае, «души прекрасные порывы» он знал кому посвящать. Находя при этом встречный отклик. По прошествии многих годов даже Мария Васильевна с восхищением рассказывала, как однажды в их теплую компанию заявила (без приглашения) Светлана Аллилуева (сотрудница Андрея Донатовича по ИМЛИ и дочь, между прочим, товарища И.В. Сталина) и,

окинув взором застолье, заявила: «Андрей, я пришла за тобой. Сейчас ты уйдешь со мной...» Молодую семью от краха спас тихий вопль Розановой...

Раньше других Синявский понял природу советской литературы и наметил маршрут своего побега из нее. Многолетний литературоведческий опыт (первые критические статьи Синявского были опубликованы в советской печати еще в 1948 году) подсказал автору, что на Родине он как писатель не нужен, вреден и даже опасен, а потому сразу начал писать, как Абрам Терц, с тем расчетом, чтобы передать рукописи на Запад, где и опубликовать. «В России я даже не пытался разносить свои рукописи по каким-то журналам, – рассказывал начинающий прозаик. – Я был достаточно в курсе дел литературной жизни и понимал, что это не для меня. С самого начала Абрам Терц – это прыжок на Запад...»

Даже при выборе своей «литературной маски» Синявский вступал в конфликт с русской и тем более советской литературной традицией, которая отдавала предпочтение псевдонимам броским и многозначительным: Андрей Белый, Максим Горький, Демьян Бедный, Михаил Голодный, Артем Веселый, Михаил Светлов, Эдуард Багрицкий... «Мой псевдоним, – объяснял «литературный диссидент» Синявский, – не несет в себе никакой идеи... Мне хотелось, чтобы он звучал, наоборот, некрасиво и несколько сниженно, но экспрессивно. Абрам Терц – герой старой блатной песни, еврей, а я сформировался в период борьбы с космополитизмом и понял и перенял афоризм Цветаевой: «В сем христианнейшем из миров поэты – жида!» Поэт – это изгой, возбуждающий негодование и насмешки, и в широком смысле писатель в моем понимании – это чужак... Абрам Терц пишет статьи и книги, которые не мог бы написать Андрей Синявский».

В середине 1950-х, когда совсем уж стало неважно и всякое терпение лопнуло, на бумагу выплеснулись первые прозаические наброски, из которых родились рассказы «В цирке», «Графоманы» и другие. Позже многие литературоведы – в партикулярном платье и при погонах – натужно пытались разгадать жанр этих произведений. Кто-то говорил о фантазмагорической беллетристике, другие о сказках, отстраненной прозе. Но автор все время балансировал, приплясывая, на краешке горячего котла, бурлящего истинными фактами и фантазиями, обманом заводя читателя знакомыми вроде бы тропками в черт знает какие чащобы. Знаток творчества Гофмана, Гойи и Достоевского (а не только А.М. Горького), Синявский с удовольствием окунулся в магический реализм, бесконечную литературную игру.

Героем повести «Суд идет» он назначил прокурорского сынка Сережу, наивного десятиклассника, мечтающего об истинном социализме, для утверждения которого организующего подпольную «партию». При этом Сережа искренне верил, что в борьбе за правое дело полезны даже расстрелы несогласных. Герой очередной антиутопии Синявского «Любимов» – велосипедный мастер Леня Тихомиров, наделенный сверхъестественными возможностями, – решает построить коммунизм в одном, отдельно взятом городе – Любимове, не прибегая к насилию. Только вот беда, этот карикатурный рай в конце повести насильственно уничтожается.

Канал для отправки рукописи за кордон был давно продуман. Еще будучи студентом, Андрей Синявский обратил внимание на прелестную француженку Элен Пельтье-Замойскую, пожелавшую изучать в МГУ русскую словесность. Неформальные встречи были зафиксированы, и «контактера» пригласили «для беседы». Молодому студенту настойчиво предложили потеснее завязать дружеские связи с мадемуазель Элен. Сама молодая славистка чекистов интересовала мало, зато ее отец – военно-морской атташе посольства Франции в Москве, адмирал Пельтье – был чрезвычайно привлекательной фигурой. А через дочку подобрать ключики к папаше можно было легко...

После недолгих раздумий Андрей согласился поработать на «органы». Но кто же мог предположить, что Синявский осмелится прийти к Элен и честно все ей выложить? Однако посмел. Более того, сообщники договорились, в каких дозах, «под каким соусом» и какую

педить информацию на Лубянку. А летом 1956 года именно через Элен дипломатической почтой первые произведения Абрама Терца ушли на Запад.

Сам Андрей Донатович любил повторять, что у него с советской властью разногласия исключительно стилистические: «...Я не писал ничего ужасного и не призывал к свержению советской власти. Достаточно уже одного того, что ты как-то по-другому мыслишь и по-другому, по-своему ставишь слова, вступая в противоречие с общегосударственным стилем, с казенной фразой, которая всем управляет. Для таких авторов, как и для диссидентов вообще, в Советском Союзе существует специальный юридический термин: «особо опасные государственные преступники». Лично я принадлежал к этой категории».

В этом смысле Высоцкий был абсолютным его учеником, избегавшим, в отличие от Александра Галича или Юлия Кима, прямой политической сатиры. Ведь Высоцкий был, по мнению Розановой, из, простите, блатного мира стилистически, а эта вольница советской власти, причесанной, зализанной, облизанной от и до и сугубо нормативной, была совершенно противоположна.

Каждому литератору знакомы гнетущие симптомы периода тягучего, болезненного ожидания материализации рукописи то ли в журнальной публикации, то ли в виде отдельной книжки. У Синявского он затянулся на долгие три года. Как потом объясняли зарубежные издатели, они хотели сначала дать зеленую дорожку «Доктору Живаго» Бориса Пастернака, посмотреть, что из этого получится. Первая публикация должна была быть оглушительно звонкой. Пастернак – это имя. А Абрам Терц может и подождать...

В самом начале 1959-го в Москву в очередной раз приехала Элен и передала Синявскому предложение парижского журнала «Эспри» – растолковать западному читателю, что такое социалистический реализм и с чем его едят. Андрей Донатович попытался ответить на этот каверзный вопрос и доказал, что новых «Анны Карениной» и «Вишневого сада» за годы советской цивилизации не получилось. Как и коммунизма, и социализма с человеческим лицом.

В статье «Что такое социалистический реализм», выступая анонимно, он писал: «Искусство не боится ни диктатуры, ни строгости, ни репрессий, ни даже консерватизма и штампа. Когда это требуется, искусство бывает узкорелигиозным, тупо-государственным, безындивидуальным и тем не менее великим. Мы восхищаемся штампами Древнего Египта, русской иконописи, фольклора. Искусство достаточно текуче, чтобы улечься в любое прокрустово ложе, которое ему предлагает история... Социалистический реализм исходит из идеального образца, которому он уподобляет реальную действительность... Мы изображаем жизнь такой, какой нам хочется ее видеть и какой она обязана стать, повинувшись логике марксизма. Поэтому социалистический реализм, пожалуй, имело бы смысл назвать социалистическим классицизмом...» Но «чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили новые тюрьмы... Чтобы не пролилось ни единой капли крови, мы убивали, убивали и убивали... Достижения никогда не тождественны цели в ее первоначальном значении. Костры инквизиции помогли утвердить Евангелие, но что осталось после них от Евангелия?..»

Созерцатель Андрей Синявский методом подмены, морока, двойничества высвобождал из себя взрывную энергию Абрама Терца. Он разыгрывал свой опасный гамбит с державой и вслед за Пастернаком проломил железный занавес, открыв дорогу неостановимой лавине «там-издата». Советская власть затаила обиду на Абрама Терца, увидев в нем предтечу «литературных власовцев», которые пытаются ее похоронить. Хотя на самом деле Синявский являлся тайным адептом революции, хранившим верность тем ее идеалам, о которых все остальные чуток подзабыли.

Стремясь замести следы, Элен Пельтье решила напечатать повесть «Суд идет» не в эмигрантских русских издательствах, а в книжном приложении к польскому журналу «Культура». В переписке с Синявским Терца она шифровала как Тютчева, а его друга Юлия Даниэля, став-

шего на ту же гибельную, «скользкую стезю» под псевдонимом Николай Аржак, как Достоевского. Контрабандистка Элен радостно информировала Синявского: «Выходит новое издание Тютчева, очень интересное, почему-то все сейчас переводят Тютчева, у парижан он в моде...»

А на родине труды критика Андрея Синявского тоже становятся заметным явлением в официальном литературном процессе. С начала шестидесятых годов он – ведущий автор авторитетнейшего журнала «Новый мир», его статьи появляются в «Литературной газете», журнале «Вопросы литературы», других специальных изданиях. Большинство публикаций касаются современной советской поэзии. При этом критик не стеснялся в оценках, считая, что нельзя даже пытаться соединять Брюсова и Демьяна Бедного. Ибо от подобного извращенного соития на свет могут появиться исключительно уроды. Синявский не щадил авторитетов – ни Евгения Долматовского, ни Анатолия Софронова, ни Владимира Цыбина. Готовились к печати его первые книги – «Пикассо» и «Поэзия первых лет революции. 1917–1920». В 1961 году Андрея Донатовича даже приняли в члены Союза писателей СССР. Дела институтские тоже ладились.

Двери их забавной «двухэтажной» квартиры в Хлебном всегда были открыты для друзей. Как только появлялся Высоцкий, он тут же снимал со стены гитару и показывал свои новые песни. Эту семиструнку в дом Синявских принес университетский товарищ Розановой. «Пока Синявский за мной ухаживал, – с улыбкой вспоминала Мария Васильевна, – я его обольщала одной старой песенкой, которую еще моя бабушка пела под гитару. И вот Игорь Голомшток подарил инструмент и говорит: «Ты будешь играть». Но с тех пор, как у нас стал бывать Высоцкий, она стала «гитарой Высоцкого»... Высоцкий был другом нашего дома, можно сказать, он немножко вырос в нашем доме...»

Синявский любил повторять: «Нас губит невероятная серьезность. Мы не умеем радоваться». Он с восторгом относился к устным рассказам Высоцкого, которые из того выплескивались природными гейзерами. То серия рассказов про дворового приятеля, соседа «Сенёжу», косноязычного и картавого на все буквы. То цикл баек про умнейшего пса Рекса, который был мудрее своего хозяина. Синявский наслаждался историей уволенного с работы. По его мнению, этот рассказ – высшее достижение Высоцкого вообще. И как актерский этюд, и как чисто литературная реприза. Был у Высоцкого еще забавный монолог работяги, который позже стал героем песни «Письмо рабочих Тамбовского завода китайским руководителям». Люсе Абрамовой, правда, не нравилось, что этот рабочий-трибун после каждой фразы обращался к своей жене: «Правда, Люсь?..»

Особую опасность для Высоцкого представляла серия монологов от лица Никиты Сергеевича Хрущева и новеллы-импровизации о крокодилах, о космонавтах, о трех медведях, которые, как вспоминал Игорь Голомшток, «сидели на ветке золотой, один из них был маленький, другой качал ногой», и этот, качающий ногой, был Владимир Ильич Ленин, а медведица – Надежда Константиновна Крупская. «Это было так смешно, – признавался Голомшток, – что от хохота у меня потом болели затылочные мышцы».

Гости взрывались безумным хохотом после каждой фразы. А у сидевшей рядом с магнитофоном Марии Васильевны рука не поднималась нажать клавишу «Стоп»... Хотя все прекрасно понимали, чем это было чревато и для автора-исполнителя, и для хранителей записей. Наивные Синявские полагали себя искуснейшими конспираторами. Хотя изначально, с того самого 1956-го, понимали, что в конце концов Абрама Терца посадят. «Ждали этого восемь лет, – рассказывала Розанова, – точно зная, что это должно случиться, но когда и как? Это было почти как со смертью – конечно, неотвратимо, но когда и как?.. Это не так просто – жить, все время ощущая спиной, затылком дыхание погони!» У них даже сложилась своеобразная семейная традиция. На Новый год Синявские никогда ни к кому в гости не ходили и к себе никого не звали. Встречали праздник только вдвоем, и первый тост был за то, что в этом году не посадили, едем дальше. Всегда боялись, что это последняя встреча Нового года вдвоем...

Кроме Юлия Даниэля, о том, кто именно скрывается под подпольной кличкой Абрама Терца, знал еще институтский приятель Синявского (он же соавтор литературоведческих трудов) Андрей Меньшутин. Его предупреждал Андрей Донатович: «Знаешь, Андрей, когда меня арестуют, тебя, естественно, в КГБ таскать будут и в ИМЛИ на собраниях прорабатывать. Так ты от меня отрекайся, ты меня клейми и знай, что я на тебя не обижусь. Потому что мне главное, чтобы ты в должности сохранился, при зарплате. Чтобы Марье с Егором помог прокормиться, они же без ничего останутся...»

Только Меньшутин тоже вниманием не обошли: после процесса «Синявского—Даниэля» уволили из ИМЛИ «за недоносительство» и напрочь закрыли доступ в издательства и редакции журналов.

Кстати, Егор Андреевич Синявский появился на свет вскоре после того самого памятного дня рождения Юлия Даниэля – 23 декабря 1964 года. А потом, через несколько недель, вспоминала Мария Розанова, Высоцкий с Люсей пришли навестить новорожденного и счастливых родителей и притащили им в подарок коляску своего сына.

Между тем популярность Абрама Терца на Западе росла с каждой публикацией. Известный американский прозаик Джон Апдайк, приехав в Москву, на встрече со своими советскими коллегами в Центральном Доме литераторов не удержался и спросил, как бы познакомиться с Абрамом Терцем. Мол, неплохо было бы поболтать за рюмкой водки. Не ожидавшие такой каверзы писатели смутились. Не растерялся лишь «литературовед в штатском», который дал достойную отповедь любопытному американцу:

– У нас была создана компетентная лингвистическая комиссия, которая изучала и анализировала тексты этого пресловутого Абрама Терца. Мы можем со всей определенностью заявить: это не русский писатель из России, всё это пишет эмигрант, давно живущий в Польше. Он и язык-то родной забыл или плохо выучил...

Чекисты не только тексты изучали. Они с ног сбились, в течение пяти лет пытаюсь установить, кто же скрывается под издевательским, по их мнению, псевдонимом. «И я до некоторой степени знал, – рассказывал Синявский, – как эти поиски идут. Я узнал, что советский посол во Франции выспрашивал издателя, откуда, кто принес, как пришло и т. д. Приходилось направлять по ложному следу. Вообще, вся эта история – некий детектив... Например, мы давали неправильную наводку через тех же французов. Что автор, например, живет в Ленинграде, что рукописи пересылает через Польшу...»

Даниэль в шутку даже предлагал соратнику по литературному «диссидентству» написать для «Нового мира» разгромную статью об этих негодях Терце и Аржаке, которые бездарно и малограмотно подделываются под советских авторов. Синявского же и вовсе посетила шальная идея: не открыться ли им самим, чтобы прекратить невыносимое ожидание. Не повиниться, нет! А просто рвануть тельняшку – стреляйте, сволочи, вот я перед вами!

Он и раньше говорил, что «самое главное в русском человеке – то, что ему нечего терять. Отсюда и бескорыстие русской интеллигенции (окромя книжной полки). И прямота народа: спяна за Россию, грудь настезь! Палите, гады! Не гостеприимство – отчаяние. Готовность поделиться последним куском, потому что последний и нет ничего больше, на пределе, на грани. И легкость в мыслях, в суждениях. Дым коромыслом. Ничего не накопили, ничему не научились. Кто смеет осудить?..»

Но на откровенное нахальство ни Синявский, ни Даниэль все же не решились. Зато расстарался коллега по критическому цеху некто Б. Рюриков, опубликовавший разгромную статью о сочинениях Абрама Терца в журнале «Иностранная литература»: «В прошлом году в Англии и Франции вышел роман «Из советской жизни» под названием «Суд идет». Автор укрылся под псевдонимом Абрама Терца. Даже из сочувственного изложения ясно, что перед нами неумная антисоветская фальшивка, рассчитанная на не очень взыскательного читателя... Ратую-

щие против социалистического реализма эстетствующие рыцари «холодной войны» – к какой достоверности, к какой правде тянут они?..»

Синявский не кокетничал, когда говорит, что любит Абрама Терца больше самого себя. Он объяснял: «Это естественно для каждого писателя, наверное. Писатель любит в себе больше писателя, чем человеческую личность». Синявский робел, юлил, приспособливался к обстоятельствам, а вот Терц —

*Спины не гнул – прямым ходил.  
И в ус не дул, и жил как жил.  
И голове своей руками помогал, —*

как позже скажет от лица героя своей песни Владимир Высоцкий.

Жене Синявского Марии Васильевне, натуре авантюрной и рискованной, Абрам Терц тоже нравился больше. Она даже пеняла мужу: «Какой ты там Абрам Терц? Это я Абрам Терц, а не ты!» Розанова гордилась, что бабушка называла ее «иезуитом», а друзья юных лет – Стервозановой.

Как бы там ни было, но именно Терц посадил Синявского в тюрьму. «Все складывалось правильно, – защищал alter ego Андрей Донатович. – Он начал переправлять рукописи на Запад – искали, ловили, круг сжимался, в конце концов поймали. Сколько вору ни воровать, а тюрьмы не миновать...» Речь тут нужно вести о раздвоении писательской личности, причем одна ипостась не отменяла и не заменяла другую. Оба – и Синявский, и Терц – вели самостоятельную жизнь, причем настолько... успешно, что советский суд, недолго думая, посадил обоих. Во всяком случае, в лагере оказался Синявский, а Абрам Терц даже там по-прежнему занимался сочинительством, заодно кое-чему научая своего прародителя.

Описывая свой арест 8 сентября 1965 года на московской улице, Синявский с удовольствием окунулся в привычную для Терца рискованную атмосферу: «Это было у Никитских ворот, когда меня взяли. Я опаздывал на лекцию в Школу-студию МХАТ и толком на остановке, выслеживая, не идет ли троллейбус, как вдруг за спиной послышался вопросительный и будто знакомый возглас: «Андрей Донатович?!» Словно сомневался, я это или не я в радостном нетерпении встречи. Обернувшись с услужливостью и никого, к удивлению, не видя и не найдя позади, кто бы так внятно и ласково звал меня по имени, я последовал развитию вокруг себя по спирали, на пятке, потерял равновесие и мягким точным движением был препровожден в распахнутую легковую машину, рванувшуюся как по команде, едва меня упихнули. Никто и не увидел на улице, что произошло. Два мордатых сатрапа со зверским выражением с двух сторон держали меня за руки. Оба были плотные, в возрасте, и черный мужской волос из-под рубашек-безрукавок стекал ручейками к фалангам пальцев, цепких, как наручники, завиваясь у одного непотребной зарослью, козлиным руном вокруг плетеной металлической браслетки с часами, откуда, наверное, у меня и засело в сознании это сравнение с наручниками. Машина скользила неслышно, как стрела...»

Описывая свою жизнь с Синявским, Мария Розанова подчеркивала ожидаемый арест мужа и, когда это случилось, написала жирным шрифтом: «Наконец-то». В своем романе-мемуаре «Спокойной ночи» Синявский утверждал, что, выходя за него замуж, его жена знала, что его посадят, но терпеть не могла, когда он ей об этом говорил. «Не накликай», – просила она.

Двадцать с лишним лет спустя, вспоминая позорные для страны события, связанные с именами Синявского и Даниэля, Евгений Евтушенко потряс воображение читателей «Огонька» душераздирающей историей о своей исторической встрече с сенатором Кеннеди в Нью-Йорке поздней осенью 1967 года. «Во время разговора Роберт Кеннеди повел меня в ванную, – пощипывал нервишки читателей поэт, – и, включив душ, конфиденциально сообщил,

что согласно его сведениям псевдонимы Синявского и Даниэля были раскрыты советскому КГБ американской разведкой. Я тогда был наивней и сначала ничего не понял: почему, в каких целях? Роберт Кеннеди горько усмехнулся и сказал, что это был весьма выгодный пропагандистский ход. Тема бомбардировок во Вьетнаме отодвигалась на второй план, на первый план выходило преследование интеллигенции в Советском Союзе».

Далее Евгений Александрович рассказывал, как он пытался из Штатов дозвониться до Кремля, чтобы конспиративно проинформировать советское руководство о полученных секретных сведениях, о кознях КГБ и т. д. Но безуспешно.

Легенду от Евтушенко обыватель с аппетитом проглотил. Правда, недруги осмелились напомнить поэту, что ранее уже слышали эту историю из его уст в несколько иной интерпретации: дескать, ЦРУ раскрыло подлинные имена писателей Терца и Аржака в обмен на чертежи новой советской подводной лодки. Но Евгений Александрович отмахнулся: «Пуццай клеветают...» Во всяком случае, отвечая на мой вопрос по поводу этой истории, Евтушенко снисходительно ухмыльнулся: «Можете мне не верить...» Что я и делаю.

Однако вернемся в Москву, в сентябрь 1965 года. Через пару дней после ареста Синявского в аэропорту «Внуково» задержали Юлия Даниэля. Начались обязательные следственные мероприятия – обыски, допросы, очные ставки.

«Сначала были наводящие, а дальше уже прямые вопросы, – вспоминал подследственный А.Д. Синявский. – Несколько дней я пытался отпираться, что я – Абрам Терц. Но у них картина была почти полностью ясна, а кроме того, я попал в такую логическую ловушку – вот такие у нас факты, воля ваша, не соглашайтесь, что вы – Абрам Терц, но, значит, вы этого боитесь, и если вы этого боитесь, то, значит, это вы считаете опасным преступлением...»

И вот тогда, собственно, я понял, что смешно отрицать факты. Факты у них в руках... Я признал факты, но не признал виновность. Конечно, был долгий их нажим... Для них это было очень важно... Человек, признавший себя виновным, он как бы выбывает из игры, тем более он еще и раскаялся. Ему дают, конечно, меньший срок... Если бы я, предположим, признал себя виновным, значит, я бы покончил самоубийством в метафизическом смысле, то есть я бы убил Абрама Терца.

...Мне очень много угрожали, что они арестуют мою жену, а сын пойдет в детский дом (а когда меня арестовали, моему сыну Егору было восемь месяцев) и тоже погибнет... Вот, решайте, что вам дороже... Мне уже было сорок лет... Я знал, чем рискую. Смешно было отступать. И, кроме того, я всегда думал, что в этой ситуации важно вести себя естественно... Для меня было бы неестественным признать за искусством какую-то вину, тем более что это был первый такой политический публичный процесс послесталинской эпохи...»

Любопытную версию относительно разоблачения Синявского-Терца высказал писатель Константин Кедров. По его мнению, псевдоним бойцы невидимого фронта раскрыли по цитате из Мережковского. Поскольку доступ к Мережковскому в Ленинской библиотеке был ограничен, «литературоведы в штатском» посмотрели, кто выписывал Мережковского, и тут же выяснили. Попался Андрей Донатович. Сразу четыре преступления совершил: а) написал, б) опубликовал, в) под псевдонимом, г) на Западе. Словом, «кругом и навечно виноват»...

Когда нагрянули с обыском в Хлебный, Мария Васильевна, разумеется, еще не знала, что Синявский уже в камере. «Приехали молодые люди, очень заботливые, вежливые, обходительные, старательные, – рассказывала она. – Три дня делали обыск... И все то, что они в первый, во второй день находили, они сбрасывали вниз, в нижнюю комнату, и опечатывали... Набралось четыре или пять таких мешков... Потом они... сделали одну ошибку – я заметила, что они ее делают, но не стала им говорить. Я поняла, что их ошибка – это чистый мне привар. А именно: они не составили опись... И вместо того, чтобы качать права, требовать, чтобы делали опись, я решила, что мы из этого дела чего-то поймеем, подумаем чего, но что-то будет...»

Последнее, что они увидели, – магнитофон и пленки рядом с ним, несколько катушек, на которых были записаны песни и стихи Высоцкого. Они все их сгребли и стали упаковывать. Здесь я впервые за все время обыска подняла легкий хай... Сказала: «А вот это брать вы не имеете права!» Они спросили почему. Я говорю: «Потому что обыск по делу Синявского, а Синявский к магнитофону отношения не имеет, он его даже включить не может. Он технический идиот, можете спросить у кого угодно. Так что магнитофон, пленки – всё мое». И последнее, что я им сказала: «Простите, а где опись изъятого?» Они стали меня успокаивать: «Не волнуйтесь, у нас ничего не пропадает, мы сделаем опись, за нами не заржавеет» и т. д. Прошло несколько дней, и меня вызывают в следственную часть КГБ. Я спрашиваю, где опись изъятого. Мне опять: скоро будет. И, наконец, объявляют: «Все, Марья Васильевна, вы волновались, а мы свое слово держим, вот вам опись». Начинаю читать и думаю, как бы получить обратно пленки Высоцкого. Читаю раз, потом другой, и говорю: «Опись неполная». – «То есть как неполная?» – «Очень просто, не полная. Где трехтомник Пастернака американского издания? Я сейчас напишу заявление о том, что опись неполная, трехтомник пропал». На самом деле трехтомник никуда не пропал. Он был мною лично выдан Андрею Меньшутину... Но следователю я написала, что книги пропали, он страшно забеспокоился, начал кому-то звонить, вызвал оперативников. Те стали меня уговаривать заявление забрать. Говорили, что их ребята честнейшие люди и т. д. Как они меня стыдили! И мне действительно было стыдно, потому что они старались делать обыск вежливо, не грубили, не хамили, короче, все делалось «в белых перчатках»... Кто-то из них мне, помню, даже сказал: «Ведь мы с вами даже вместе чай пили, так все было мирно, так по-комсомольски все было. А вы на нас такое!» Я понимала, что я, сволочь, их оклеветала, но что поделаешь – на войне как на войне! Мы же с ними находились в состоянии войны...

Я сказала: «Хорошо, заявление я заберу, но только после того, как вы мне вернете пленки с записями Высоцкого». На том и порешили. Таким образом, я эти записи спасла. Мало того, когда мне их возвращали, оперативники предупредили: «Здесь все, кроме одного антисоветского рассказа, который мы стерли». Я очень горевала, потому что действительно там Высоцкий читал один свой рассказ про двух крокодилов, один из которых стал секретарем обкома, я этот рассказ очень любила. Я пришла домой, стала слушать записи и вдруг выяснила, что «крокодилы» уцелели. Какой-то произошел технический сбой, и они не смогли стереть запись... Я поняла, что с этой Лавкой (КГБ) можно торговаться. Но только в том случае, если говоришь с позиции силы. В дальнейшем мне этот опыт очень пригодился, так что спасибо Высоцкому».

Родные арестованных какое-то время отмалчивались, ближайšie друзья темнили, и по Москве поползли невнятные слухи: за что? За анекдоты? За связи с иностранцами? За подпольное производство синтетических кофточек? За спекуляцию неизвестно чем? Просто ни за что? Опять стали сажать ни за что? Тогда еще не было широкого диссидентского движения, сопровождавшегося широкой волной обысков и арестов среди интеллигенции. Но страшная сталинская эпоха еще была свежа в памяти многих. Сомнения развеяли сообщения, прозвучавшие по «Голосу Америки» и «Радио Свобода».

Пока в квартире Синявских длился обыск, никакой связи с внешним миром у Марии Васильевны не было, и гостей она, естественно, не принимала. Телефон у них по-прежнему отсутствовал. Поэтому Высоцкий появился в доме Андрея Донатовича, как всегда, без предупреждения, неожиданно. Разговаривать в доме было опасно, никаких разговоров в комнате Мария Васильевна не допускала. Высоцкий же снял со стены свою гитару и запел: «Говорят, арестован лучший парень за три слова...» И так я поняла, говорила Розанова, что «он знает, что случилось... То, что он пришел, для меня было очень важно...»

Впрочем, на случившееся реагировали по-разному. Скажем, коллега Синявского по Школе-студии Виталий Виленкин, увидев Розанову на улице, тут же поспешил перебежать на другую сторону. Очень уж ему не хотелось повторить судьбу своего коллеги Игоря Голом-

штока, которого сначала привлекли свидетелем по делу Синявского—Даниэля, а потом привлекли к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и приговорили к полугоду принудительных работ.

Высоцкий пока не догадывался, что его слушают даже в Лефортово. «К концу следствия, – рассказывал Андрей Донатович, – меня вызвали... на допрос, но почему-то не в обычный кабинет следователя, а повели какими-то длинными коридорами. Наконец открыли двери кабинета, где сидело много чекистов. Все смотрят на меня достаточно мрачно, предлагают сесть и включают магнитофон. Я слышу голос Высоцкого. По песням я догадываюсь, что это наши пленки, которые изъяты, вероятно, у нас при обыске. Мне песни доставляют огромное удовольствие, чего нельзя сказать про остальных присутствующих. Они сидят с достаточно мрачным видом, перекидываясь взглядами. Песни на этой пленке были очень смешные, и меня поразило, что никто ни разу не улыбнулся, даже когда Высоцкий пел «Начальник Токарев» и «Я был душой дурного общества». Потом они стали говорить об антиобщественных настроениях этих песен, требовали от меня согласия на уничтожение пленок. Я, естественно, спорил. Говорил, что, напротив, мне песни видятся вполне патриотичными, что их нужно передавать по радио, что они воспевают патриотизм и героизм, ссылаясь, в частности, на одну из них – «Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест-накрест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». Вот, говорил я, даже блатные в тяжелые минуты для страны идут на фронт. Тогда один из чекистов спрашивает меня: «Ну, ведь это можно понять так, что у нас до сих пор есть лагерь?» – «Простите, – отвечаю, – а меня вы куда готовите?» Он ничего не ответил. В общем, я отказался от того, чтобы пленки стерли. Тогда они сказали, что хорошо, пленки они вернут, но один рассказ все-таки сотрут – рассказ о том, как в Красном море к Ростову плывут два крокодила, маленький и большой, и маленький все время пристает с вопросами к большому: «А мы до Ростова плывем? А мы в Красном море плывем?..»

Оперативно, буквально через месяц после ареста писателей-вредителей, председатель КГБ при Совете Министров СССР В.Е. Семичастный и Генеральный прокурор Р.А. Руденко информировали секретариат ЦК КПСС:

«...Особое место среди этой литературы заняли повести... Абрама Терца и Николая Аржака, под псевдонимами которых ныне арестованные старший научный сотрудник Института мировой литературы им. Горького, член Союза писателей СССР Синявский и литератор-переводчик Даниэль. Книги этих авторов, изданные массовыми тиражами, активно используются пропагандистскими центрами противника в антисоветской обработке общественного мнения стран Запада, в распространении так называемой «правды об СССР», а также засылаются в Советский Союз с враждебным умыслом. Подобного рода литература весьма ценится нашим идеологическим противником, что видно на примере неослабевающего стремления искать все новых авторов среди политически сомнительных советских граждан...

Представляется необходимым провести среди творческой интеллигенции наряду с принятием некоторых административных мер достаточно широкую разъяснительную и профилактическую работу. Это вызывается еще и тем, что есть отдельные лица, сочувствующие Синявскому, Даниэлю и другим и пытающиеся придать их действиям политически безобидный характер...

В частности, полагаем целесообразным провести следующее:

– Комитету госбезопасности информировать о существовании дела Синявского и Даниэля правления Союза писателей СССР и РСФСР, руководителей Института мировой литературы им. Горького, а также правления Московского и Ленинградского отделений Союза писателей.

– По окончании следствия и после решения вопроса об ответственности арестованных Синявского и Даниэля Союзу писателей СССР обеспечить участие писательской общественности в заключительных мероприятиях по делу, вопрос о которых будет решен Прокуратурой СССР, КГБ и судебными органами...»

А Владимир Высоцкий 20 декабря писал своему другу Игорю Кохановскому в далекий Магадан: «Ну а теперь перейдем к самому главному. Помнишь, у меня был такой педагог – Синявский Андрей Донатович? С бородой, у него еще жена Маша. Так вот, уже четыре месяца, как разговорами о нем живет вся Москва и вся заграница. Это – событие номер один. Дело в том, что его арестовал КГБ. За то, что он печатал за границей всякие произведения: там – за рубежом – вот уже несколько лет печатается художественная литература под псевдонимом Абрам Терц, и КГБ решил, что это он. Провели лингвистический анализ – и вот уже три месяца идет следствие. Кстати, маленькая подробность. При обыске у него забрали все пленки с моими песнями и еще кое с чем похлеще – с рассказами и так далее. Пока никаких репрессий не последовало и слежки за собой не замечаю, хотя надежды не теряю. Вот так, но – ничего, сейчас другие времена, другие методы, мы никого не боимся, и вообще, как сказал Хрущев, у нас нет политзаключенных...»

Людмила Абрамова заверяла: «О том, что Андрей Донатович взял себе псевдоним, – этого Володя не знал, но чувствовал благодарность за то, как Донатович всех берег. Чувствовал и вину какую-то, и зависть к тем немногим, которые все-таки знали, – ревность какая-то к ним... О том, что Андрей Донатович пишет фантастические рассказы, он узнал еще до процесса. Однажды он пришел с квадратными глазами и принес рассказ Синявского «Пхенц», не зная, что этот рассказ уже опубликован на Западе под псевдонимом Абрам Терц. Рассказ действительно потрясающий... На уровне фантастики, которая была тогда, – и вдруг – такое! Даже не фантастика, а что-то высокое».

Высоцкий интуитивно угадывал идею Синявского: фантастика – это попытка уединенной души восполнить утраченный обществом опыт.

Арест писателей был воспринят как пролог к зловещим переменам, фиксировала летописец правозащитного движения Людмила Алексеева. В обстановке тревоги и неопределенности 5 декабря 1965 года на Пушкинской площади в Москве произошла первая демонстрация под правозащитными лозунгами. Инициатором стал сын Сергея Есенина Александр Есенин-Вольпин, математик и поэт. Многие отговаривали его от этой затеи. Но Вольпин и еще несколько человек все же вышли на площадь и развернули плакаты: «Требуем гласного суда над Синявским и Даниэлем!», «Уважайте советскую конституцию!». Распространителей листовок с «Гражданским обращением» арестовали и упрятали в психбольницы.

А следствие близилось к финишу. «Разоружившись», то есть признав, что он и есть тот самый Абрам Терц, Синявский пытался доказать следователям, что он – сторонник чистого искусства, пусть даже затрагивающий какие-то политические мотивы, а посему не считает возможным судить его как писателя: «Искусство не должно привлекаться по политическим и уголовным статьям. На эту тему мне в тюрьме довелось много спорить с моим следователем по особо важным делам Пахомовым. Человек с двумя дипломами, он как-то посетовал, что третий раз перечитал мою повесть «Любимов» и ничего в ней не может понять. Я обрадовался: «Вот видите, Виктор Александрович, если даже вы, образованный человек, ничего не понимаете, то какая же это «политическая агитация и пропаганда», всегда рассчитанная на ясную и определенную цель?.. У меня были другие, чисто художественные задачи...»

Андрею Донатовичу казалось абсурдом то, что человек не в состоянии понять элементарные истины: «Допустим, я кому-то читал вслух какой-то рассказ. Это трактуется как агитация и пропаганда путем распространения текста. Хотя это было просто устное чтение. Вот мы считаем «Мертвые души» антикрепостническим произведением. Так? А когда Гоголь читал какую-то главу Аксакову, это что, было антикрепостнической агитацией и пропагандой? Следователь хмурился: «Вы не Гоголь. Не сравнивайте себя с Гоголем».

Подследственный себя ни с кем и не сравнивал. Он не мог и не хотел предположить, что за искусством, культурой, творчеством следуют конвоиры и надзиратели бряцают ключами. Зато вспоминал магнитофонные записи своего дерзкого ученика.

*Если воровал —  
Значит, сел. Значит, сел.  
А если много знал —  
Под расстрел, под расстрел...*

Тогда, в первой половине 60-х, сам факт передачи писателем своих произведений для публикации за рубежом демонстрировал презрение художника к Советской власти. У Высоцкого, рассказывала Люся Абрамова, это вызывало не осуждение, а горестное удивление... Нам всегда хотелось, чтобы все хорошее было здесь, на нашей земле. Тогда Володя не мог видеть так далеко, как Андрей Донатович: уж очень он был молодой... Наверное, Володе казалось, что с такими рассказами благороднее погибнуть на костре...

По стечению обстоятельств (хотя, может, то был и Божий промысел?) печальные события, связанные с Синявским, совпадали с подготовкой программного для Театра на Таганке спектакля по пьесе Бертольда Брехта «Жизнь Галилея». Исполнитель заглавной роли Высоцкий, разбирая по косточкам судьбу своего героя, видел эту чужую, кем-то красиво перечеркнутую судьбу. И не мог не понимать, что вся наша жизнь, и Синявского, и его собственная, похожа на Галилееву. Что делать? Подчиниться, сломаться, вслух отречься от самого себя и втихаря писать «в стол», доказывая, что что-то там все-таки вертится? И только на Голгофе выкрикнуть во все горло об этом? Или все же идти путем, проложенным Абрамом Терцем, пока грозная инквизиция не спохватилась?..

Таганский Галилей задавал вопрос и себе, и людям в зале: «Неужели тот, кто учен, — обречен, тот, кто несет нам свет небывалых истин, — ненавистен?» В пьесе Брехта сидящий под домашним арестом опальный ученый, будучи слепым, надиктовывал дочери свою последнюю книгу «Беседы», которую затем тайно передал для публикации за границу...

Синявский даже с лэфортовской «шконки» напоминал Высоцкому о своем существовании. 4 января 1966 года молодого актера пригласили выступить на вечере в Институте русского языка АН СССР (существовала в те годы такая легальная форма творческих встреч с писателями, актерами, певцами, художниками — невинные «Устные журналы»). Их организаторы в основном «окучивали различные НИИ, так называемые режимные «ящички», куда вход чужакам был заказан. Выгода была обоюдная: зрителям — глоток свободы, выступающим — возможность живого общения и пусть малая, но копейка в карман). Готовясь в одном из служебных кабинетов к встрече с филологами, Высоцкий увидел на рабочем столе книгу Меньшутина и Синявского «Поэзия первых лет революции — 1917–1920», полистал и гордо заметил: «А у меня есть такая — с автографом автора: «Милому Володе — с любовью и упованием...»

Примерно в те же дни секретариат ЦК КПСС принял решение о проведении над Синявским и Даниэлем открытого судебного процесса. 13 января 1966 года в центральной печати появились первые публикации с упоминанием опальных имен. «Сочинения» этих отщепенцев насквозь проникнуты клеветой на наш общественный строй, на наше государство, являют образчики антисоветской пропаганды... Пройдет время, и о них уже никто не вспомнит... На свалке истлеют страницы, пропитанные желчью...» — кликушествовал в «Известиях» член Союза писателей СССР Дмитрий Еремин, заклеив Синявского и Даниэля как «перевертышей». Не смолчала и «Литературная газета», увидев в коллегах по перу «Наследников Смердякова». Автор определения, критикесса Зоя Кедрина вместе с писателем Аркадием Васильевым была удостоена чести выступить общественным обвинителем на процессе.

Слушания по делу состоялись 10–14 февраля 1966 года. В помещение областного суда пускали по особым приглашительным билетам, как по контрамаркам на концерт Мосэстрады.

Ни Синявский, ни Даниэль виновными себя не признали. В заключительном слове на процессе Андрей Донатович говорил: «Доводы обвинения — они создали ощущение глухой

стены, сквозь которую невозможно пробиться до чего-то, до какой-то истины... Создается какая-то пелена, особенно наэлектризованная атмосфера, когда кончается реальность и начинается чудовищное – почти по произведениям Аржака и Терца. Это атмосфера темного анти-советского подполья, скрывающегося за светлым лицом кандидата наук Синявского и поэта-переводчика Даниэля, готовящих заговоры, перевороты, террористические акты, погромы, убийства... В общем, «день открытых убийств», только исполнителей двое: Синявский и Даниэль...

Я хочу только напомнить некоторые аргументы, элементарные по отношению к литературе. С этого начинают изучать литературу: слово – это не дело, а слово; художественный образ условен, автор не идентичен герою. Это азы... Но обвинение упорно отбрасывает это как выдумку, как способ укрыться, как способ обмануть...

В глубине души я считаю, что к художественной литературе нельзя подходить с юридическими формулировками. Ведь правда художественного образа сложна, часто сам автор не может ее объяснить. Я думаю, что, если бы у самого Шекспира (я не сравниваю себя с Шекспиром, никому это и в голову не придет), если бы у Шекспира спросили: что означает Гамлет? Что означает Макбет? Не подкоп ли тут? – я думаю, сам Шекспир не смог бы точно ответить на это. Вот вы, юристы, имеете дело с терминами, которые чем уже, тем точнее. И отличие от термина значение художественного образа – он тем точнее, чем шире...»

Суд удалился на совещание, которое длилось четыре часа. Чем занимал это время себя Синявский? Набрасывал заметки о Пушкине. Писал как бы продолжение своего последнего слова. С Пушкиным же он и отправился в исправительно-трудовую колонию строгого режима на долгие семь лет. Даниэлю дали пять. На лагерных делах «подельников» значилось: «Использовать только на физически тяжелых работах».

Друзьям Андрей Донатович после рассказывал: «Я был только на тяжелых работах. Разные работы – грузил и вытаскивал опилки, очень неприятная работа, потому что все время в опилках, забивает дыхание. Сколачивал ящики. А больше всего я работал грузчиком... Здоровье ничего оказалось. Только в лагере я потерял все зубы, но это просто от плохого питания. Витаминов нет. Так что физически было очень плохо: тяжелые работы и плохое, очень однообразное питание. Маленький кусочек мяса давался нам два раза в год – на праздник Октябрьской революции и на Первое мая. Но это вот такой кусочек мяса... А остальное время – это баланда или вариации этой баланды. То так она сварена, то этак. Конечно, и психически тоже было тяжело – семья, жена, маленький ребенок. И, кроме того, одновременно и на себе ставишь крест. Ясно, что ты никогда не вернешься к этой своей работе. Ты как писатель кончен. Твое имя в грязи, вывернуто... Но главное, что ты понимаешь, что кончено... А это главное в твоей жизни призвание. Кстати, отсюда и рождается сопротивление, и поэтому я в лагере продолжал писать, и даже как Абрам Терц...»

Пробив через многочисленные инстанции разрешение на свидание с мужем, Мария Розанова приехала в Мордовию: «Под тяжестью рюкзака с харчами внедряюсь в дом свиданий, ко мне конвой вводит Синявского – страшного, стриженного наголо, тощего, и я готова умереть от жалости к бедному зэку, а бедный зэк мне говорит: «Слушай, Машка, здесь так интересно!»

– Что?! Так тебе тут лучше, чем на воле?

Он принялся объяснять: «Это – интересный и разнообразный мир, тем более, когда он на реальной подкладке, а не просто романтические мечты и вымыслы. В лагере я встретил как бы свою реальность, понимаете, фантастическую реальность, которую раньше я придумывал. А тут она оказалась под боком. И даже в познавательном отношении это мир интереснейший, потому что я свою страну, я Советский Союз больше узнал в лагере, чем за все предшествующие годы... Все-таки я попал в лагерь для особо опасных государственных преступников... Я не имел права говорить, что я политический заключенный. Запрещено. Потому что кодекс-то один, называется «Уголовный кодекс». Но есть разные категории уголовников. Вот та кате-

горя, куда я попал, называется «особо опасные государственные преступники»... И тут же были настоящие уголовники, но получившие дополнительную статью по той или иной причине. Скажем, выпустившие листовку «Долой КПСС» сразу получают дополнительную, 70-ю статью, политическую. Делают они это иногда с отчаяния или для того просто, чтобы спасти жизнь. Если, скажем, заключенный проигрался в карты и не сумел отдать долг, его убьют другие воры. Он тогда выкидывает вот такой фортель – и уже попадает в политические преступники и едет в другой лагерь. Наконец, там много сидело людей за веру, из сект разных направлений, очень интересных.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.